

С.Н.Сергеев-Ценский

Севастопольская срада

часть V

Глава первая

Глава вторая. Юбилей

Глава третья. Ополчение

Глава четвертая. Лицо императора

Глава пятая. Степан Хрулев

Глава шестая. Налет на Евпаторию

Глава седьмая. Николай заболел

Глава восьмая. Новые редуты

Глава девятая. Смерть Николая

Глава десятая. Отставка Меншикова

I

Кокоревские тройки смогли проскочить через совершенно опустошенную в смысле фуража полосу Крыма от Симферополя до Перекопа только при покровительстве и поддержке военных властей. Притом же пятая русская стихия — грязь — была, наконец, покорена морозом.

Елизавета Михайловна Хлапониная, увозившая, по совету Пирогова, своего тяжело контуженного мужа в курскую деревню, в начале дороги была за него в постоянной тревоге при каждом раскате саней, грозившем вывалить его в снег, при каждом ухабе, которых было вполне достаточно не только для тревог, даже и для отчаянья.

Однако уже к концу первого дня определилось, что, пожалуй, в некую смутную возможность добраться если не до курской деревни, то хотя бы до Екатеринослава можно было поверить. Старообрядец Кокорев, наживший свои миллионы на винных откупах, стремился подбирать к себе на службу только непьющих людей, и густобородый ямщик Пахом, который вез Хлапониных, оказался человеком вполне обстоятельным, хозяйственным, заботливым и к своей тройке, и к упряжи, и к саням, и к пассажирам.

Сани же были не простые розвальни, открытые всем ветрам и метелям, а кибитка, обитая плотным серым войлоком. На облучке рядом с Пахомом сидел денщик Арсентий, который успел перед отъездом добыть себе нагольный тулуп, необходимый для зимних путешествий, и в нем он вполне уже чувствовал себя в деревне, чему помогали и необъятные снежные поля кругом, и запах лошадей впереди, и то, что тройки двигались длинным дружным обозом, поневоле не слишком торопливым, так как нужно было размерить лошадиную прыть на тысячу с лишним верст.

По-матерински наблюдая за своим мужем, Елизавета Михайловна отмечала, как он оживился, чуть только началась эта длинная, необычная дорога.

Прежде всего дорога эта совсем не была так утомительно однообразна, как бывали в те времена нескончаемые русские дороги зимой. Она ярко пестрела и гремела, деловито, пожалуй весело даже, потому что все на ней было осмысленно, бодро, необходимо: русским войскам, атакованным в Крыму, везлись военные грузы.

Разномастные лошади, то мелкие, лохматенькие, сельские, ласково именуемые «котятками», то крупные, жилистые, городские; огромные, как слоны, длиннорогие украинские волы; величественно и даже как будто презрительно глядящие сверху вниз вислогубые рыжие верблюды; на возах или около возов горластые возчики в дубленых полушубках, подпоясанных то красными, то зелеными кушаками, в шапках шерстью наружу, и в голицах поверх варежек, а лица их пылали, подожженные морозом.

Радостно плыли навстречу, густо зеленея на снегу, огромные воза степного сена, и пахло от них такими изумительными ароматами, что кокоревские кони, втягивая их широкими, горячими ноздрями, замедляли шаг, мотали головами, фыркали и вздрагивали всей кожей. Конечно, львиная доля этого сена съедалась дорогой теми же, кто его вез, — были ли это волы, верблюды или лошади, — но кое-что привозилось все-таки и конскому составу Крымской армии.

Везли сухари в мешках, закрытых сверху рогожами, крупу, овес, туши мороженого мяса, порох в ящиках, наконец, снаряды. Огромнейшее и

ненасытное брюхо войны требовало всего этого в умопомрачающих количествах, поэтому дорога, была, как река в половодье: оживленно бурлива, стремительна и изобильна.

И не было на ней тихих минут, и не могло быть.

То и дело звенели колокольчики ямских троек, которые то обгоняли кокоревский обоз, то мчались ему навстречу, увозя и привозя то офицеров разных чинов и положений, то других, причастных войне, людей.

И, наблюдая сама с чисто ребяческим любопытством все, что несла на себе эта фантастическая зимняя дорога северного Крыма конца 1854 года, Хлапониная часто заглядывала также и в лицо мужа, — как он? Не слишком ли утомляет его такая чрезмерная густота впечатлений?

Но с изумлением видела, что он почти так же ребячески оживлен, как и она. Это замечала она по его большим серым глазам, над которыми то и дело поднимались брови, и по губам, которые отзывались на многое, хотя и совершенно беззвучно.

Дмитрий Дмитриевич как будто понимал сам, что пока он вложит то или иное впечатление в слова, оно промелькнет уже, заменится другим, для которого тоже надо разыскивать слова в косной, неповоротливой памяти... Да и зачем они, эти слова? Беззвучное шевеление губ не лучше ли передаст радость от непрерывной цепи всяких этих чудесностей, брошенных сюда обороняющейся от нападения странюю?

Однажды им встретился и какой-то пехотный полк, который шел в Севастополь из армии Горчакова. На обывательских подводах и санях везли солдатские вещи и отсталых, полк же шел обыкновенным походным порядком.

Кокоревский обоз должен был свернуть в снег, правда неглубокий, чтобы уступить дорогу. Очень ярко сверкало солнце на штыках солдат. Верхами ехали тепло одетые офицеры.

Полк, шедший во взводной колонне, проходил долго, Елизавета Михайловна только здесь, в дороге, как следует, осязательно поняла, какую силу представляет собой всего только один пехотный полк, даже и далеко не полного состава.

Вдруг батальонному командиру несколько приотставшего четвертого

батальона вздумалось подбодрить своих усталых солдат песней, и он крикнул;

— Песенники, вперед!

Команду передали дальше. Песенники выбегали перед строем проворно, даже весело. И вот один из них, запевала, завел высоким и звонким тенором «Марусеньку».

Ма-ару-се-ень-ка пшани-ченьку жа-ла...

Ма-ару-се-ень-ка пшани-ченьку дъжала, —

поддержали остальные песенники, и тут же, приударив ногою, ожесточенно-лихо подхватил весь батальон:

Э-эхх, Маруся, дъэ-эх, Маруся больная лежала!..

Э-эхх, Маруся, дъэ-эх, Маруся больная лежала!

Запевала подтянулся, подбросил голову и так же звонко и высоко, как, прежде, но уже с оттенком легкой лукавости кинул в сверкающий воздух:

Вот прихо-дит ле-екарь...

Стал Машу лечить...

Подхватили песенники, а за ними батальон прогремывал мало обработанными, но весьма искренними голосами:

Скажи, скажи, душа-Маша, что в тебе болит!

Нарочито тонко, по-девичьи, ответила на это запевала:

Болит моя спина...

Болит голова! —

Всплакались песенники, а батальон дополнил жалобы болящей:

Э-эхх, грудью Маша дънездорова,

Сама чуть жива!

Из дальнейших слов песни Елизавета Михайловна узнала, что лекарь был не кто иной, как солдат, и что он, как полагалось солдату, сразу вылечил Машу от всех ее болезней.

Дмитрию Дмитриевичу песня эта была хорошо знакома, и, слушая ее, он улыбался, к большой радости жены, которая отвыкла уже видеть улыбку на его губах.

Когда совсем свечерело и обоз остановился на постоялом дворе дать отдых и коням и путникам, она с новой радостью заметила, что ее муж совсем не разбит первым днем дороги, — напротив, чувствует себя

гораздо бодрее, чем в Симферополе, и, взяв его за руку, чтобы привычно проверить его пульс, она сказала ему умиленно:

— Ну, вот видишь теперь, что такое Пирогов!.. А признаться, когда он предлагал мне этот свой... рецепт, я думала про себя: уж не шутит ли он, думаю, над нами!.. Оказалось, что он сразу увидел, что ты будешь вести себя молодцом!.. Вот это — врач! Вот что значит светило медицины!

— А чаю... нельзя будет тут? — вполне осмысленно огляделся в очень тесно набитом, хотя и теплом покое почтовой станции Дмитрий Дмитриевич.

— Непременно, милый! Арсентий уже хлопчет, — успокоила его Елизавета Михайловна.

И эта собственная забота мужа о чае тоже была ей радостна: обыкновенно ему приходилось каждый день напоминать о чае.

## II

За Перекопом появилась уже у Хлапониной уверенность, что длинную и трудную все-таки дорогу муж ее перенесет, что даже, пожалуй, не нужно будет делать недельную остановку в Екатеринославе, бросив кокоревский обоз, на что она решилась уже при начале пути. Именно та самая пониженная впечатлительность мужа, которая так ее пугала, здесь оказалась спасительной.

За собою же лично она замечала, что никогда раньше так внимательно не вглядывалась она во все встречное, как теперь, когда она хотела представить себе, как все это воспринимается вот теперь ее мужем.

Среди разных новых для нее открытий она отметила, между прочим, что молодые дубки стояли кое-где в рошицах по сторонам дороги, не роняя своих листьев, несмотря на зиму. Листья эти, правда, были уже сухие, коричневого цвета, железно-жесткие на вид, но они храбро держались на ветках, несмотря на сильные ветры и метели, в то время как ветки старых дубов были голы.

Что давало силы этим листьям так цепко держаться за родные ветки? Она решала: молодость деревьев. Таким же молодым еще дубком был теперь в ее представлении муж, и она уже готова была поверить пироговским словам о нем, что переживет он свою случайную зиму,

что непременно вернется к нему прежнее здоровье с новой весной, — весной будущего пятьдесят пятого года.

Когда подъезжали уже к Днепру, встретился им на одном постоялом дворе артиллерийский капитан в теплой шинели с меховым воротником, в каких никто не ходил в Крыму, и Дмитрий Дмитриевич долго и упорно всматривался в него, наконец, сказал ей:

— Первушин, а?.. Погляди-ка...

Действительно, артиллерист оказался Первушин, сослуживец ее мужа по Нижнему, и Елизавета Михайловна радостно удивилась тому, как мог он узнать этого Первушина, который был так старательно закутан башлыком, что от всего лица его оставались видны только мутные, цвета пуговиц гимназических мундиров глаза с оледенелыми ресницами, чрезмерно распухший красный нос да завиток заиндевелого уса.

Первушин ехал не в Севастополь, а в Николаев, и отсюда должен был свернуть на другой тракт, но он очень живо, как все из глубокого тыла, любопытствовал узнать, что делается в Крыму, в Севастополе; и отвечать на его вопросы приходилось уже самой Елизавете Михайловне, тем более что времени в их распоряжении было немного, а узнать Первушину хотелось обо всем.

Дмитрий Дмитриевич во время этого разговора только кивал головою, соглашаясь со всем, что сообщала его бывшему товарищу жена, но и это длительное напряженное внимание было в нем для нее ново и многозначительно.

Простились они тепло, и Первушин так усердно желал Хлапониному поскорее поправиться и так крепко прижимался к его лицу своим красным разбухшим носом, что сразу стал дорог и Елизавете Михайловне, и почему-то именно теперь она твердо решила не задерживаться в Екатеринославе, а ехать с обозом дальше, в деревню Хлапонинку.

Эстафета о том, когда приблизительно могут они добраться до станции, стоявшей от Хлапонинки верстах в тридцати, была послана еще из Симферополя; но на всякий случай Елизавета Михайловна послала из Екатеринослава вторую, так как здесь можно уж было рассчитать довольно точно время приезда: ошибка могла быть не

больше, как на один день.

Проехав Харьков, Хлапонины попали уже в родные им обоим места. Здесь коричневолистые дубовые рощицы и перелески перемежались с сосновыми, посаженными на песках, чтобы закрепить их. Чаше стали попадаться сороки. Изрезаннее стала местность, так как близко проходил Донецкий меловой кряж.

— И отчего бы уж вам, барыня, в моей кибитке до Москвы не докатить, право слово! — конфузливо улыбался в дремучую бороду Пахом, расставаясь со своими пассажирами на маленькой почтовой станции.

И Арсентий, уныло оглядываясь кругом, поддерживал его:

— Тут, гляди-ка, может, еще и лошадей не дожدهшься, вот и сиди куняй!

Но он ошибался: пара неплохих лошадей, запряженных цугом в просторные санки с ковровой полстью, ждала Хлапониных еще с утра.

### III

Крыша барского дома была из камыша, переслоенного глиной с известью. Когда подъезжали к нему Хлапонины, стояла оттепель, пухлая шапка снега на крыше таяла, и сияющими сталактитами висели вдоль низких стен огромные рыжие сосульки, образуя как бы ледяной частокол — защиту от посягательств на мир и довольство засевшего здесь Хлапонины-дяди.

Елизавета Михайловна не имела раньше никакого представления об усадьбе, в которой родился ее муж, и теперь вид этой приземистой, хотя и длинной, просторной, зажиточной хаты ее поразил неприятно.

— Это дом барский или людская? — спросила она кучера Фрота, который правил именно сюда свою пару цугом.

— Дом-с, а как же-с, — несколько удивился Фрол. — Известно-с, дом барский...

Распространяться об этом больше ему не было возможности: к крыльцу дома полагалось подкатить бойко и фасонно, в то же время и с немалым искусством обогнуть, ничего не повредив, клумбы роз перед домом и еще каких-то нежных растений, окутанных рогожами.

Елизавета Михайловна вопросительно поглядела в глаза мужу, и он, который был в понятном волнении, подъезжая к родному гнезду,

ответил ей тихо:

— Это дом... да... и крыша та же.

Две больших, кудлатых черных собаки с лаем кинулись к саням, заставив Фрола отмахнуться от них кнутом, потом несколько человек дворни — казачок, девка, широколицая баба в красном, с подтянутыми толстыми грудями, выскочили все сразу из двери на крыльцо, низенькое, всего в две ступеньки, но широкое, и бросились опрометью на тающий снег отстегивать полсть и высаживать гостей. Наконец, точно выждав свое время, показался на крыльце и тот, к кому ехали, — Василий Матвеевич Хлапонин.

Он вышел так, как был у себя в комнатах, без шапки, в толстом зеленом халате, отороченном беличьим мехом, в плисовых теплых сапогах. Лысый лоб его был полуприкрыт зачесом рыжеватых волос слева направо, а лысина на макушке — зачесом справа налево, отчего голова его имела не совсем обыкновенный вид.

Но лицо его, небольшое, тщательно выбритое, очевидно, ради ожидавшегося приезда племянника с женой, так и расцвело на глазах весьма внимательно глядевшей на него Елизаветы Михайловны, так и заиграло сразу всеми лучами теплейших и нежнейших родственных чувств, чуть только ступил на крыльцо Дмитрий Дмитриевич.

Еще когда собиралась ехать сюда Елизавета Михайловна, она пыталась, но все-таки не могла даже и отдаленно представить себе, как могут встретиться после очень долгой и молчаливой разлуки обиженный племянник с обидчиком-дядей, настолько ревностно опекавшим его имение, что оно совершенно истлело для него, превратилось в какой-то сон юности.

Об этом же самом думала она очень часто и вовремя дороги: добрая встреча как-то совсем не укладывалась в ее сознании.

Однако же Пирогов почему-то отверг Киев, когда прописывал свой «рецепт» ее мужу; так же точно, конечно, отверг бы он и Екатеринослав, Харьков, Москву: только деревня обладала, по его словам, необходимым для Дмитрия Дмитриевича целительным бальзамом.

Но встреча, встреча двух людей враждебных лагерей, как она могла бы произойти?

Оказалось, что встретились дядя с племянником как нельзя лучше. Не забыв почтительно поклониться ей, дядя так и впился в племянника неотрывным, слезоточивым родственным поцелуем.

Да, он непритворно расплакался от сильнейшей радости, этот Василий Матвеевич! И лицо его было все сплошь совершенно мокро от слез, когда он обратился, наконец, к ней, чтобы чмокнуть ее в руку выше перчатки, и потом под руку ввести ее первую в свой дом, а за нею помочь войти и племяннику, пострадавшему при защите родного Севастополя и потому не свободно владеющему рукой, ногою и языком.

#### IV

То, во что поверила Елизавета Михайловна, когда представила себе, как врачующе может подействовать на ее мужа возвращение в мир его детства, совершалось в действительности на ее глазах.

Едва отдохнув после дороги, Дмитрий Дмитриевич, — это было уж на другой день по приезде, — сам, без ее помощи, ковыляя и держась за стены здоровой рукой, обошел несколько комнат в доме в то время, когда дядя был занят где-то по хозяйству.

Она, правда, не оставляла мужа без своего попечения, но старалась держаться в стороне, не быть заметной. Она только наблюдала пристально, как он медленно проводил рукой и глазами по обоям, очевидно, стараясь припомнить, те ли это обои, какие были здесь тогда, лет семнадцать назад... Если крыша осталась неизменной, то могли, конечно, остаться и обои, выцветши, сколько им полагалось выцвести.

Она следила с учащенно бившимся сердцем, как он, взяв со стола или с этажерки какую-нибудь безделушку — фарфоровую статуэтку или раковину-перламутреницу, — долго вертел ее перед глазами и бережно клал, наконец, на прежнее место, чтобы тут же взять другую. Ведь эти незначительные с виду мелкие предметы могли быть до последнего пятнышка и изгиба изучены им в детстве...

Когда он увидел неказистую с виду, старенькую, красного дерева тумбочку на высоконьких ножках, он долго не мог от нее оторваться. Он глядел на нее широко раскрытыми, растроганными глазами и

оглянулся только затем, чтобы увидеть кого-то, с кем можно бы было поделиться своей радостью.

Она поняла, что ей надо было подойти к нему, и она подошла. И положив свою руку на одно из бронзовых колец на крышке тумбочки, он сказал ей, волнуясь:

— И ты тоже... ты тоже так! — При этом он показал ей на другое такое же кольцо рядом.

Потом он потянул за кольцо, глядя на нее чуть-чуть лукаво, как фокусник, и она потянула, — крышка разошлась, и из глубины тумбы поднялась еще одна доска — средняя, — получился столик, причем на этой средней доске оказалось два ряда медных подставок для бутылок, рюмок, стаканчиков.

— Скатерть! — сказал он торжественно. — Это скатерть... как она, ну, как?

Он задвигал пальцами от усилия припомнить трудное слово, и она подсказала:

— Самобранка!

— Само... вот!.. Само-бранка! — повторил он с усилием, однако удовлетворенно.

Но вслед за столиком-кабаре находил он на каждом шагу хорошо знакомые ему предметы, а когда дотащился до кухни, то нашел и слишком хорошо знакомого человека, свою няньку Феклушу. Он помнил ее уже старухой, но все кругом него почему-то, как и он сам, конечно, звали ее девичьим именем Феклуша. Теперь она была уж совсем дряхлая, должно быть под восемьдесят лет, и голова у нее дрожала, и желтая кожа лица, вся из прихотливо сплетшихся морщин, обвисала бессильно; только глаза светились еще и глядели остро.

Дмитрий Дмитриевич не узнал бы свою няньку в этой старухе, как и она не могла бы узнать того, кого водила когда-то за ручку и таскала на руках, в этом усатом, искалеченном на войне офицере. Но ей сказали, что приехал барчук Митя, и она первая постаралась «узнать» его, а потом уже вспомнил, «узнал» ее он.

И так трогательно показалась Елизавете Михайловне встреча ее мужа с его древней нянькой, что даже и она, настороженно держащая себя в этом загадочном для нее доме, почувствовала, что глаза ее стали

влажны и заволгло их вдруг, точно туманом.

Но вот старушка испуганно шепнула вдруг:

— Барин пришли! — и не по возрасту проворно юркнула в двери.

Слуха она не потеряла: действительно, голос Василия Матвеевича слышался со стороны парадного хода — крыльца.

Елизавета Михайловна вопросительно посмотрела на мужа, не поняв, чего могла испугаться Феклуша, и повела его обратно, в гостиную, куда вскоре явился и Василий Матвеевич, снявши в прихожей свой лисий полушубчик, бобровую шапку с плисовым верхом и высокие кожаные ботинки, в которых прохаживался он по своей усадьбе, делая утренний осмотр хозяйства.

— Встали-с?.. И в добром здоровье-с?.. Очень, очень... очень приятно-с!.. Приятно, что в добром здоровье встали-с! — весь так и засиял он, целуя руку Елизаветы Михайловны и чмокая звучно племянника в щеку. — Ну, вот-с, теперь мы и кофейку можем напиток-с!

Как ни была огромна любознательность деревенского обитателя касательно осады Севастополя и всей вообще войны в Крыму, но она была удовлетворена все-таки еще накануне, в день приезда гостей.

Правда, суетливо хлопотал он тогда, чтобы досыта накормить их, наголодавшихся, по его мнению, в дороге, и потом уложить их на отдых, необходимый после такого длинного пути, но в то же время так же неустанно и выпрашивал их, находя все новые и новые вопросы.

Отвечать ему приходилось, конечно, Елизавете Михайловне, а, глядя на племянника, дядя часто и сокрушенно качал головой, бормоча по адресу англичан и французов:

— Ах, злодеи, злодеи, что сделали!.. Ведь вот же мало им, ненасытным, своего, — чужого добра захотелось! Ах, злодеи!

И никак не могла тогда Елизавета Михайловна определить, жалеет ли он действительно ее Митю и как было бы лучше всего ей с ним держаться.

Теперь, пройдясь по свежему зимнему воздуху, дядя имел какой-то заразительно взвинченный вид; он жестикулировал всем телом, он приплясывал как-то, когда даже стоял на месте; от него так и пышало застоявшейся энергией, и даже руки его, которые он потирал все время, были ярко-красны, как лапы у гусака. Роста он был несколько

выше среднего, но сутул; однако даже и сутуловатость эта делала его похожим теперь на человека, готового к отважному прыжку через барьер.

Кофе внесла девка, которая накануне помогала гостям выбраться из саней; но что-то такое непозволительное усмотрел дядя в том, как она подавала на стол стаканы; он внезапно выпрямился и поглядел на нее так многозначительно, поджав при этом губы, что та чуть не выронила из рук

подноса.

Однако это прошло мимолетно, как облачко на ясном небе. Угощая домашней сдобой, дядя спросил вдруг Елизавету Михайловну:

— А насчет медицинских пиявок вы какого мнения, дражайшая?

— Насчет пиявок? — удивилась вопросу Елизавета Михайловна.

— Да-с! Обыкновенных пиявок медицинских! Я спрашиваю вас, потому, что, представьте себе, не так давно говорил с одним лекарем, так он, извольте видеть, сомневается в пиявках... Да-с! Со-мневается, невежда! Я даже был вынужден ему сказать: «Жаль, молодой человек, ваших родителей, которые деньги свои кровные потратили на образование ваше-с!..» Вот я и сейчас волнуюсь, чуть только вспомнил это!

Елизавета Михайловна поспешила его успокоить:

— Как же так можно сомневаться в пиявках? В Севастополе за них готовы большие деньги платить, да и в Симферополе тоже.

— Ну, вот видите, вот видите! — подскочил на месте дядя.

— Их не хватает... Их назначают врачи, но их очень трудно добыть.

— Ага! Вот именно! Именно-с! Добыть трудно! А я, здесь вот, в глуши... скушайте, пожалуйста, вот этот коржик румяненкокий!.. Я озарился мыслью и... развожу-с!

— Кого разводите?

— Пиявок-с!

И Василий Матвеевич победительно посмотрел сначала почему-то на своего племянника, потом на Елизавету Михайловну.

Даже Дмитрий Дмитриевич удивленно поднял брови и спросил:

— Пиявок?.. Разве... можно?

— Ага! Вот-с! В этом вся суть дела! Оказалось, вполне можно-с!

Пиявка существует чем именно? — Кровью-с! Всасывает чужую кровь, тем и жива... Вот я и задался мыслью: нельзя ли, думаю, мне, худоумному, обработать эту самую пиявку так, чтобы и из нее что-нибудь высосать для своей пользы-с!

Тут он очень ловко сделал из своих бритых губ что-то вроде присоска и красными гусачьими лапами подгрел к ним воздух. На пиявку, впрочем, он походил при этом мало, но какое-то разительное сходство с пауком, нацелившимся на муху, мгновенно нашла в нем Елизавета Михайловна и глядела на него с тревогой, спрашивая его:

— Как же все-таки вы их разводите?

— О-о, как! Это имеет свою историю! Вы к медицинским пиявкам не приглядывались? Не имели с ними дела-с?

— Не приходилось как-то. Хотя я и была в госпитале, но в такое время, когда там было не до пиявок, а только операции делали, и то не успевали.

— Это где же так именно было не до пиявок? — несколько опешил дядя.

— Во время канонады... когда и в самый госпиталь ядра летели...

— Ага! Так! Это могло быть. Читал, читал. Канонада! Это, конечно, совсем другое дело, и тогда отца-мать забудешь, не только пиявку... Это понятно-с... А неужели Мите никто из ваших там врачей не прописывал для здоровья этак дюжину пиявочек к затылку... или там к руке, к ноге, а? Ну, да, впрочем, вы сказали, что их доставать там было трудно, тогда я все понимаю-с!

Он потер руки, откинулся на спинку кресла, принял сосредоточенный вид, как будто готовясь прочитать целую лекцию, и продолжал:

— Пиявка, — это пришло мне в ум еще тогда, когда в «Северной пчеле» писали: «Раз Наполеон III прошел в императоры, значит надобно ожидать войны!..» Коротко и ясно! Вроде кометы с двумя хвостами-с! Раз, думаю, ждут войны, следовательно, понадобится много пиявок! Это так как-то у меня слепилось одно с другим, и разорвать не могу. А как Меншикова-князя послал государь к султану турецкому, я сам себе сказал: «Действуй». Так, стало быть, весной пятьдесят третьего года я и начал действовать. Пиявка, думаю себе, где она любит водиться? В болоте? Хорошо-с!.. Есть у меня подобное? —

Имеется, как не быть! А водятся ли у меня-то в болоте моем пиявки медицинские? Вот оказался коварный, можно сказать, вопрос! Конские пиявки водились, а ме-дицинских-то — этих-то как раз и не было-с! Вот с чем я столкнулся на первых порах: не было медицинских, — значит, их надо было еще раздобывать где-то на завод, а потом уж разводить. Конская пиявка, позвольте вам доложить, она иззелена-черная и ростом большая, а медицинская поаккуратнее и посветлее, и тут у нее рисуночек такой желтенький имеется, на брюшке-с, — чиркнул для наглядности пальцами по своему жилету дядя, весьма игриво поглядев при этом на Елизавету Михайловну. — Шесть полосок желтоватых с красниной если на пиявке имеется, это и есть врачебная-с! Самый верный признак! Даже и цветом она пусть совсем на конскую похожа и ростом тоже, — был бы только рисуночек на ней. Теперь вопрос: болотце мое — или его можно озерком назвать — от дома далековато, а между тем пиявка — штука тонкая, за ней следы да следы, а уж если следить за ней нужно, стало быть, поселять ее надо возле дома-с... Одним словом, я сделал такой прудок у себя в саду; моху лесного туда набросали на дно, торфу, кочек болотных во всей целости по берегам воткнули, — полная обстановка пиявочная, одним словом! Плодись, матушка, весели хозяина!

— Где же все-таки вы достали пиявок для развода? — спросила Елизавета Михайловна.

— Купил-с таких, знаете ли, уже ставленных, — они, конечно, обошлись дешевле мне, чем если бы совсем новеньких, а мне ведь на завод, — не все ли равно?.. От жары чтобы не перевелись они у меня летом, я прудок свой обсадил ветлою, ветла растет бойко и тень как раз над водой дает. А для зимы, чтобы живых пиявок иметь, я завел вроде как бы пиявочную оранжерею-с — теплицу, которую отопляем по мере сил и возможности, хотя это уж большой добавочный расход оказался. Но что же делать, — взялся за гуж, не говори, что не дюж. Скриплю, а топлю. Это свое заведение я вам могу показать хоть сегодня. Правда, я там уже сам был, — с нашим народом нельзя без своего глаза: только не досмотри, и все дело пропало-с! Но ради вас я могу и еще раз туда пройтись, — наклонил он голову в сторону Елизаветы Михайловны, как бы совсем забывая о своем племяннике.

— А пока только объясню вкратце, в чем там суть. Это рядом с прудом вырыта яма большая, а в яму опущен сруб в сажень глубиной, в три шириной, в четыре длиной... Так что вроде купальни, а над ямой изба, настоящая изба, с окнами большими, чтобы им там светло было, этим тварям, а то они в темноте ведь и заснуть могут... Железная печь, и через всю избу железные трубы идут! Теплица!.. Вода не застывает, солнышко в окошки светит, летние настроения налицо! Плодись, милая, весели хозяина!

— Что же... плодились? — спросил внимательно слушавший Дмитрий Дмитриевич.

— Был приплод! — торжествующе ответил дядя. — Был! И говорят знающие люди — большой! Так что с гордостью могу сказать: теперь у меня уже из полутора ста штук образовались тысячи!

Он помолчал несколько секунд, как бы наслаждаясь эффектом, им произведенным, и повторил уже более сдержанно и скромно:

— Да, тысячи... И, кроме того, я ведь должен же был кое-что читать о пиявках, — как же иначе-с? Иначе нельзя. И вот я убедился, что Линней<sup>{59}</sup> прав, да, Линней был прав, когда причислял пиявок к живородящим. Они рожают живых маленьких пиявчат, — представьте себе, дражайшая Елизавета Михайловна! И не мало-с: до тридцати штук приходится на одну мамашу-с! Вот какие оказались плодущие! Так мамаша и выносит их всех на себе погреться на солнышке, я это наблюдал собственными глазами-с! Но ведь пиявки не могут же плавать так, как, скажем, ерши или налимы, нет! Им нужно было дать возможность греться на солнышке и греть свой приплод. Я положил для этого обыкновенный плетень на воду, и вот решена задача-с! Плетень плавает, как все равно плот на реке, а к нему уж может прилипнуть хоть пятьсот пиявок, хоть и вся тысяча. На плетень этот я тоже приказал кочек болотных насажать, чтобы для них, как это говорится, родная стихия была-с. Молодые — они, как червячки, — держатся хвостиками за мамашку, а сами цвет имеют гораздо светлее ее. С неделю она их так таскает на себе, а потом уж эти каналы говорят ей: «Адю, мамашок, теперь уж мы сами начнем плавать на свой риск и страх!»

И даже умилиение в голосе этого любителя пиявок слышалось

Елизавете Михайловне, и, чтобы убедиться, действительно ли это умиление, она сказала:

— Я слышала, что по империялу за штуку платили раненые офицеры в Севастополе и все-таки не могли достать, сколько нужно было.

Дядя так и подскочил, чуть дело дошло до империяла.

— Вот видите, видите, что это такое за мысль меня осенила, а? Тут ведь с одной стороны польза человечеству, явная польза, самая очевидная для всех... за исключением дурака этого, о котором я говорил; а с другой — ведь это целый капитал, посудите сами-с! Из тысяч могут выйти десятки тысяч пиявок, из десятков сотни... Потом миллионы, а? Мил-ли-оны! — Он закрыл глаза рукою, точно ослепленный небесным видением, и даже головою покрутил. — Миллионы, да ничего нет хитрого-с! И если за каждую пиявку я тут, у себя дома, на месте, так сказать, производства, буду получать... не по империялу, конечно, а только по казенной цене, самим правительством установленной, то и то ведь я могу быть, как это говорится, сват королю и кум Ротшильду, а?.. А?.. Просто и ясно-с!

У

После завтрака Василий Матвеевич действительно повел гостей показать им свой пиявочник — избу просторную, снаружи довольно опрятную, внутри же весьма таинственную.

Ведать ее приставлен был Тимофей «с килой», прозванный так в отличие от другого Тимофея, конюха, и третьего Тимофея, «Татарина», который, впрочем, был ничуть не татарин, но когда-то давно, еще в молодости, внося в барский дом тяжелую поклажу, забыл при этом снять шапку, — просто, заняты были обе руки, — за что и получил от Василия Матвеевича свое прозвище.

Этот третий Тимофей был плотник, а кила первого Тимофея — багровая шишка величиною с куриное яйцо — торчала сбоку подбородка, выпячиваясь из реденькой русой бороденки.

Елизавета Михайловна заметила, что был этот Тимофей очень суетлив, но в то же время как будто и проникнут сознанием важности порученного ему, а не кому другому дела с пиявками. Кроме того, у него была, по-видимому, непобедимая привычка к словечку «ась?».

Приведя гостей и показывая им с увлечением свою затею, Хлапонин-дядя рассказал между прочим, что вода здесь проточная, — «иной пиявки не уважают», — а чтобы они не уползли из своей ванны, в отверстия труб вставлены медные решетки.

— А ну-ка, объясни господам, для чего же именно разорился я на медные, — ведь железные, например, были бы дешевле, — обратился Василий Матвеевич к Тимофею.

— Ась? — потянулся к нему, встряхнув волосами, Тимофей, так что можно было подумать, что он глух; однако он тут же откачнулся, стал, как во фронт, и проговорил заученно: — По той самой причине медные решетки, что бесспорно способнее! Железная поржавеет, пропадет, и что тогда может выйтить? Все как есть пиявки будут пробовать, как бы им отседова увойтить, и прямым манером увойдут... А медная решетка, эта ржи не боится-с.

— Ну вот, видите, почему медные, — победоносно поглядел на Елизавету Михайловну хозяин. — А скажи-ка, температуру какую ты здесь держишь?

— Ась? Касательно температуры как вашей милости приказать было угодно для зимнего времени, так и держу-с: двенадцать по градуснику чтобы, не менее того, склячая когда дрова очень шибко горять, — тогда даже и двадцать пять набежать может от нагрева труб-с.

— Вот тут и градусник, — кивнул на стену Василий Матвеевич, но Елизавета Михайловна только глянула в ту сторону, однако не подошла проверять.

В избе было три больших окна, поэтому вполне светло, но все-таки темная, почти черная вода казалась бездонной и жуткой, и это чувство какой-то жути еще усиливалось от торчавшего посередине островка с болотными кочками на нем.

Дмитрий Дмитриевич тоже с видимым недоумением оглядывал тут потолок, стены, воду, мостки со всех четырех сторон, наконец сказал:

— А конюшня?

— Ась? — потянулся к нему Тимофей, встряхнув волосами, и ответил с достоинством: — Конюшня, барин, это, примерно будучи сказать, совсем в другом месте-с!

Когда дядя вел под руку племянника показывать ему конюшню,

Елизавета Михайловна нашла нужным спросить о том, что было ей более понятно:

— Как же все-таки можно топить железную печку так, чтобы тепло долго держалось на двенадцати градусах?

— Требуется так, чтобы не меньше двенадцати, но, конечно, разве на этих подлецов вполне положиться можно? Он то нажаривает так, что трубы красные, как огонь, то чуть у него ночью вода не замерзает! А печка, хоть и железная, она в середине кирпичом выложена, тепло держать может, да ведь он ночью спит, мерзавец, а не топит.

— А вообще-то зачем именно надо топить?

Этот вопрос удивил дядю так, что он даже приостановился на шаг.

— Ка-ак же так зачем? Затем, дражайшая, чтобы пиявки были живые и зимою! Приезжают ведь покупщики и зимой... Полагаю, что и в зимнее время людям приходится ставить пиявки.

— А-а, вот что! Значит, ваши питомицы начали уже приносить вам пользу?

— И людям тоже, — скромно добавил дядя.

Конюшня, когда к ней подошли, показалась Елизавете Михайловне не более, как конюшней, но совсем другое впечатление получилось у ее мужа.

Во-первых, это было то же самое длинное, низенькое и с камышовой крышей, как и дом, здание, украшенное над воротами гипсовой конской головой. Одно ухо головы этой, как было им лично отбито в детстве, так и осталось. Стойла в два ряда, застреленные сороки, висевшие на тонких бечевках под поперечными балками над проходом между стойлами; узенькие маленькие окошечки, так как лошади, не в пример пиявкам, не нуждались в свете, — все это было то самое, что он привык видеть здесь давно, в детстве.

Дмитрий Дмитриевич стоял забывчиво, как зачарованный, и странно было ему самому ощущать, что резкий запах конюшни этой, запах, такой привычный и милый его сердцу артиллериста, почему-то связывается в его памяти с запахом цветущих лип и рокочущим жужжаньем бесчисленных майских жуков...

Липы эти стояли тут же в стороне, — несколько штук, больших, развесистых, старых, но теперь, обернувшись, он напрасно искал их

глазами: их срубили, видимо, даже выкорчевали и пни. Но чувствовался под осевшим от таянья снегом прежний плац, на котором еще отец его любил гонять молодых лошадей-полукровок на корде.

По кругу, протоптанному тут резвыми третьяками с подрезанными гривками, он бегал в детстве сам и, ему казалось тогда, ничуть не тише, чем они, и любым аллюром.

Но день был до того тепел, что всюду капало, стояли рыжие лужи, расчирикались воробьи, и — неизменная принадлежность конюшни — косматый зеленоглазый грязно-белый козел, жуя жвачку, грелся около ворот на солнце.

И Дмитрию Дмитриевичу почему-то вдруг очень отчетливо припомнился очень давний вечер, весною, когда цвели липы и жужжали кругом майские жуки... Ему было тогда лет пять, не больше. У них в доме было почему-то много гостей с детьми. И вот чья-то бойкая девочка лет десяти, с золотой косичкой, в которую вплетен был шелковый голубой бантик, поставила всех их, малышей, в круг около себя и таким твердым, но удивительно приятным почему-то пальчиком тыкала каждого в грудь, певуче приговаривая при этом:

Кахин-Михин, кто под нами,

Под железными столбами?

Комонь-помонь. Чем подкован?

Златом литым под копытом.

Шишел-вышел, вон пошел!

И кого касался пальчик этой девочки при последнем слове «пошел», тот должен был выбегать из круга, и счет начинался снова с загадочных слов «Кахин-Михин», пока, наконец, не оставался перед девочкой всего один малыш; тогда девочка отскакивала от него, а он должен был ловить ее, — но где же было малышам поймать ее, резвую, как дикая коза?

Бегали, кричали изо всех сил, пахло конюшней, липами, молодой зеленой травой, голубым бантиком девочки в золотой косичке... И так очаровательно было вдруг вынырнувшее из тугой памяти во всей своей полноте это воспоминание, что Дмитрий Дмитриевич даже не изумился тому, что вспомнил от слова до слова все эти непонятные и теперь, как и тогда, слова: «Кахин-Михин», «комонь-помонь», «златом

литым», «шишел-вышел», а между тем он только именно тогда, в тот вечер, слышал это детское заклинание, — никогда не приходилось слышать его потом.

Когда они вошли в конюшню, там кучер Фрол, плотный и ражий, лет сорока, совсем ему незнакомый человек, вместе с Тимофеем-конюхом — по виду тех же лет, что и он — чистили скребницами и щетками как раз тех самых вороных рослых коней, которые везли их сюда с почтовой станции.

И вот теперь, когда зазвенела неотбойно в Дмитрие Дмитриевиче странная, но милая песенка девочки, он пододвинулся к одному из этих коней, потрепал его по холке и проговорил, весело улыбаясь:

— Ну-ка, ты комонь-помонь, чем подкован, а?

Проговорил это совсем без запинки, даже скороговоркой, чем чрезвычайно изумил Елизавету Михайловну.

— Ми-тя? — вопросительно обратилась она к нему, подняв брови, а он, добродушно улыбаясь ей и взяв ее указательный палец в свою руку, начал постукивать им себе в грудь, приговаривая, как та девочка с голубым бантиком:

Кахин-Михин, кто под нами,

Под железными столбами?..

И проскандировал все пять этих овечьих теплом и радостью детства строчек не только без обычных для него пауз, но даже с некоторым выражением, так что даже и дядя понял, что что-то такое поворотное и весьма значительное произошло с его племянником вот тут, на его глазах.

Он счел даже необходимым ответить чем-нибудь радостным на огромную радость, светившуюся в лице Елизаветы Михайловны, и слегка, по-отечески, обняв ее плечи и нагнув к ней голову в бобровой шапке, проговорил игриво:

— Вот что делают пиявочки-то мои, милашки! Стоило только мне позвонить о них с полчаса, — и я уже замечая, дражайшая моя, польза от этого есть! А если поставить дюжину голоденных минуток хотя бы на десять, а?.. а?.. Ох, мне кажется так, был бы от этого нашему Мите большущий прок!

И лицо его, когда он говорил это, было весело, сам же он испытывал

некое беспокойство, связанное тоже с воспоминаниями о весьма приятном прошлом.

## VI

Когда Елизавета Михайловна посылала Хлапонину-дяде эстафету из Симферополя, она это делала, как говорится, для очистки совести, чтобы оправдаться перед Пироговым, но не перед мужем. Она не думала, чтобы мужу доставила хоть малейшее удовольствие встреча с дядей, не надеялась и на то, чтобы дядя, обобравший племянника, выразил согласие принять его, как раненого защитника родины, до возможного, но гадательно выздоровления в свой дом.

Она знала от мужа, что его отец, ротмистр в отставке, жил в деревне, дядя же в это время служил в Петербурге, в министерстве внутренних дел; впоследствии он тоже вышел в отставку, не дослужившись до высоких чинов.

Имение деда Дмитрия Дмитриевича было поделено между двумя его сыновьями, и старший, Дмитрий Матвеевич, управлял частью младшего, Василия, и высылал ему деньги в столицу.

Но вот умерла его жена, мать Мити, который был тогда кадетом одного из младших классов, а вслед за этим заболел неизлечимой болезнью и он сам, и дядя после его смерти был назначен опекуном племянника, что было вполне естественно.

Вот тут-то и проявил дядя свое знание русских законов, то есть произвола больших, средних и даже мелких чиновников, царившего в те времена. Сфабрикованы были какие-то денежные обязательства и даже векселя от имени отца Мити в пользу Василия Матвеевича, и ко времени производства Дмитрия Дмитриевича в чин прапорщика подоспело решение суда о продаже его части имения на уплату «долга» дяде.

Вести дело с таким знатоком законов в следующей инстанции, а потом, может быть, и в высшей было немисливо без наличия крупных денег на взятки чиновникам, а Дмитрий Дмитриевич имел только свое жалованье; дядя же его при помощи новых махинаций на торгах сумел оставить бывшее имение брата за собой и таким образом объединить

раздробленную было Хлапонинку в своих руках.

Но он оказался настолько умелым крючкотворцем, что, задумав округлить свою землю за счет довольно крупного куска земли своего богатого и даже имеющего вес соседа, преуспел и в этом.

Он узнал как-то стороною, что многоземельный сосед его не имеет плана своей земли, и этого было с него довольно, чтобы завести в суде дело о том, будто крестьяне этого соседа запахали у него, Хлапонина, двести три десятины земли.

Дело было явно вздорное, так и посмотрел на него богатый сосед, однако он не знал того, кто это дело затеял, и, уехав за границу, предоставил своему управляющему отвечать в суде. Но и управляющий его тоже держал себя, как очень важный барин, Хлапонин же не постеснялся вступить чуть ли не в приятельские отношения с местной полицией — становым и исправником.

Когда земский суд затребовал планы земель и когда оказалось, что в конторе богатого соседа Хлапонина не имелось планов, решено было поручить становому приставу собрать показания окрестных жителей. И тогда-то восторжествовал Хлапонин-дядя! Задобренный им пристав собрал большую толпу окрестных жителей, а Василий Матвеевич поил ее на свой счет.

Пьянство получилось гомерическое, и, правду сказать, оно обошлось не то чтобы дешево, но особые уполномоченные зато давали подписывать пьяным то, что хотелось Хлапонину, и те подписывали, и вместо двухсот трех десятин на основании этих показаний окрестных жителей становой пристав заблагорассудил прирезать к Хлапонинке тысячу двадцать четыре десятины, всю дачу, к которой принадлежал кусок, понравившийся сутяге.

Тогда только барствующий управляющий понял, что дело это не вздорное, и начал действовать. Земский суд, по его ходатайству, уничтожил распоряжение станового, но Хлапонин-дядя перенес дело в уездный суд, и там оно было решено снова в его пользу. Сосед взялся за это дело сам и перенес его в гражданскую палату. Благодаря своим связям он выиграл его здесь, но Хлапонин-дядя тогда сам отправился в Петербург, где у него остались знакомые среди чиновников-сослуживцев, и здесь, в Сенате, одевшись едва не в рубище, начал

слезно молить, что он совершенно разорен своим богатым соседом, который незаконно отнял у него последнее его достояние. Мольбы и знакомства подействовали: тяжущимся предложено было размежеваться полюбовно. Сосед, которому надоела волокита, добровольно уступил Хлапониному половину спорной дачи, чтобы как-нибудь отделаться от этого паука. Тот повздыхал, попенял на людскую жадность, но в конце концов согласился и начал осматриваться кругом, нельзя ли урвать что-нибудь себе под межу и у кого-либо другого из соседей.

И скоро нашел и начал новое дело, которое пока еще тянулось, проходя уже третью инстанцию, но давало все-таки ему уверенность окончиться также благополучно: межевые узаконения в те времена были темны, как история мидян, печенегов и половцев, а потому в поземельных владениях было достаточно неясностей, которые могли толковаться и вкривь и вкось.

Слухи о подобных художествах дяди доходили до Дмитрия Дмитриевича стороною и передавались им жене. Когда возник в Симферополе вопрос о поездке в деревню, Елизавета Михайловна даже и вообразить не могла печальной возможности продолжительно гостить у такого родственника, и ее удивляло, почему муж не был против этой поездки. Она объясняла это его апатией ко всему на свете.

Однако еще меньше понимала она Хлапониного дядю, когда читала его ответную эстафету. Не понимала его отношения к ним обоим и теперь. Она только решилась упорно, чего бы это ни стоило ей, терпеть их, видя уже с первого дня, что Пирогов почему-то оказался прав, что деревня действительно врачует ее мужа у нее на глазах.

## VII

Стороною доходили до Дмитрия Дмитриевича слухи, что дядя его, считаясь по паспорту холостяком, в то же время имеет семью, о которой по-своему печется, и Елизавета Михайловна думала, что попадет в деревенскую семейную обстановку, хотя и несколько необычного свойства.

Спрашивать об этом кучера Фрола, когда ехали они со станции,

считала она не совсем удобным, но, увидев дядю мужа на одиноком положении, видимо для него привычном, была очень удивлена.

Встречавшая их толстая баба с высоко подтянутыми грудями — ее звали Степанидой — была ключницей. Она распоряжалась на кухне и в доме, отличаясь от других женщин двора только тем, что одета была несколько чище, телом заметно потяжелее и голос имела начальственный, густой, сиповатый, басистый.

В тот самый день, когда Хлапонин-дядя показывал свой пивочник, Степанида обратилась к нему:

— Укладываться, барин, будете, аль-бо не поедете совсем в Харьков?

— Пошла, пошла с укладкой! — сердито отозвался Василий Матвеевич.

— Лезет тут с Харьковом, когда гости прибыли!

Это слышала через дверь отведенной им спальни Елизавета Михайловна и в удобную для того минуту спросила Степаниду, куда хотел ехать ее барин, чему они помешали своим приездом.

— А как же так — куда? К ней же, к своей Маргарите Карловне, — просипела полушепотом Степанида.

И все так же полушепотом, однако довольно подробно, объяснила, что Маргарита Карловна — вдова чиновника, с которым когда-то вместе служил в Петербурге Василий Матвеевич, что муж ее сошел с ума и был помещен в сумасшедший дом, а Маргарита Карловна прижила за это время от Василия Матвеевича троих, которые, конечно, носили фамилию не его, а сумасшедшего чиновника Реусова, так как Маргарита Карловна развода не получала и продолжала до его смерти считаться его законной женой. Когда водворился в имении Василий Матвеевич, он помог сожительнице перебраться поближе к себе — в Харьков, где она на небольшую пенсию, заработанную мужем, воспитывала детей, открыв маленькую белошвейную мастерскую; Василий Матвеевич оказывал ей кое-какую помощь, но только своими сельскими продуктами, а не деньгами; продукты эти иногда поручал отвозить Степаниде, почему она и знала все это, а иначе трудно было бы и узнать, так как к себе в имение Хлапонин-дядя, как оказалось, никогда свою сожительницу не приглашал. Сам же он иногда, особенно зимою, отправлялся в Харьков и проживал там по неделе и больше; этот губернский город был гораздо ближе к Хлапонинке, чем

Курск. Теперь дети его были уже взрослые, но судьбою их он не занимался, предоставив это всецело им самим и течению случайностей. Впрочем, Новый год он обычно считал нужным проводить в кругу своей «незаконной» семьи, чтобы ровно в двенадцать часов поднимать торжественно бокал шампанского за свои преуспеяния в наступающем году... А теперь было как раз 30 декабря, — близился новый 1855 год.

Толстая Степанида, полушепотом передавая некие тайны интимной жизни своего барина, кое-что утаила по недостатку времени. Но в тот же день нечаянно удалось услышать Елизавете Михайловне, что казачок Федька звал Степаниду мамашей и подозрительно показался похож и цветом волос и складом лица на Василия Матвеевича. А несколько позже она заметила еще человек пять ребят среди дворни хотя и разных матерей, но большого сходства с казачком Федькой: в нерушимой тишине черноземной деревни Василий Матвеевич явно стремился к увеличению количества своих крепостных, собственным стараньем «улучшая» их породу.

Приготовлением к новогоднему торжеству ввиду приезда племянника с женой Василий Матвеевич придавал довольно шумный характер. Резали всякую разводимую в усадьбе живность, за исключением пивок; жарили, варили, начиняли и пекли пироги, делали заливное, терли хрен...

Судя по большому оживлению на кухне, Елизавета Михайловна думала, что к вечеру соберется много гостей, но время шло, наступал вечер, а к приему гостей дом не готовился. Наконец, на вопрос ее, будут ли гости, Василий Матвеевич ответил многозначительно-торжественно:

— Дражайшая моя, я привык встречать этот день только в своем семейном кругу-с! Никаких посторонних личностей при этом я видеть желания не имею-с!

И приложил преданно руку к сердцу и наклонил к ней голову с замысловатой прической рыжих с проседью волос.

Глядя на эту торжественность лица его и на длительное прощупывание им своего сердца под праздничным бархатным жилетом, можно было подумать, что он готовится объявить своему

племяннику, что когда-то сознательно и жестоко его обидел, но кается в этом от всей души; что с первого же дня нового года начинает он новую жизнь; что, ответив на его эстафету приглашением приехать, он тогда же решил возвратить ему отцовскую часть имения; что слезно молит его простить, снизить к человеческим слабостям и порокам и дать счастливую возможность загладить свою вину неусыпными заботами о нем, жертве кровавой войны, поднятой против России врагами...

Елизавета Михайловна не то чтобы думала о нем; именно так в этот вечер, — ее институтские годы были далеко позади, — но ожидала все-таки, что он несколько расчувствуется за шампанским, вспомнит своего брата, отца Дмитрия Дмитриевича, расскажет что-нибудь о маленьком кадете Мите, о его матери, так безвременно рано умершей... Упоминание о «семейном круге» навевало на нее именно такую цепь предположений, тем более что в этом чувствовалось ей нечто, способное, может быть, даже окончательно разбудить полудремящее сознание ее мужа.

И вот они сели за достаточно пышно убранный стол втроем, когда наступил поздний вечер. Были даже букеты гортензий и розовые примулы в горшках из теплицы. Традиционные бутылки шампанского показывали свои золотые головы из вазы со льдом, стоявшей на другом столе.

И поглядывая на эти бутылки и на гостей, весело заговорил Хлапонин-дядя:

— Одного чудодея действительного статского советника я знал, — коллекцией увлекся до умопомрачения. И что же он собирал такое? Пробки от шампанского-с! На каждой пробке есть, конечно, свой штампель, — французы на это доки, — какой марки шампанское, какого года, — и, ух, как же это его занимало! Где бы ни пили шампанское, он там! И вы его, чудака, даже и шампанским можете не угощать, он не обидится, но уж что касается про-о-бок, то, пожалуйста, не выкидывайте на двор, а ему подарите! Да что там подарки! Мелочь! Он у всех половых в трактирах пробки покупал! Служба у него была больше разъездная — ревизии да инспекции. Так он, голубчик, куда ни приедет, первым делом в трактир или там в

ресторации бежит, чтобы пробки поскорее захватить, а то вдруг кто-нибудь возьмет, да — хе-хе-хе-хе — и перебьет ему музыку! Возьмет да и перекупит у него драгоценности эти-с!.. Зато уж если к нему попадешь даже и по службе, заговорит! Прямо до полусмерти готов заговорить, — и все только касемо пробок от шампанского-с! Где ему что удалось достать, да сколько числом, да каких годов, да каких фирм. Чу-до-дей!.. Десять шкафов он этих пробок набрал! Государственный муж! Действительный статский! Иной может подумать, что какие-нибудь своды законов всех держав в десяти-то шкафах у него этих, а там одни только пробки по сортам и ранжирам-с! Хе-хе-хе-хе!

Когда он смеялся, то откидывал назад голову, выставлял лодочкой подбородок и, казалось бы, совершенно закатывал глаза, но Елизавета Михайловна чувствовала, что сквозь самые узенькие щелки век он на нее очень внимательно смотрит, именно на нее только, а не на мужа. Сама же она следила за мужем и видела, что он не менее внимательно наблюдает своего дядю, как совершенно нового для него человека.

— Спрашивается, что же он этими своими пробками до такой степени увлекся, что даже и о на-значении своем забыл? — продолжал дядя горестно, как-то мгновенно из смеющегося ставши не только серьезным, но даже как бы и негодующим. — Назначение же его было огромное: ревизии государственных учреждений разных, а ему, — так, кажется, выходило, — стоило только какую-нибудь редкостную пробку показать, и вот уж кончена ревизия-с! Пробку эту он в свою пятерню захватил, и обо всем забыто! А назна-чение человеческое, дражайшая Елизавета Михайловна, это-с... это все! Кушайте, пожалуйста, покорнейше прошу-с! Меня слушайте, а сами кушайте! Митя! Не обессудь! За исключением одного только шампанского, тут перед тобой на столе все наше с тобою — родовое, хлапонинское! — Он обвел глазами, что было на столе, и подтвердил с гордостью: — Все!.. Помещик существует для того, чтобы добывать из земли все, что можно из нее добыть, это и есть его назначение! Но что же такое есть имение в своей сущности-с?.. В миниатюрном виде — это целое государство-с! Государство — вот что оно такое! А государство с

государством только и делает, что воюет. Вопрос теперь — вполне ли законно оно поступает?.. Однако спокон веку оно так поступает — и ничего-с. Поэтому выходит, что вполне законно-с! Одного человека другие люди и судить и осудить могут и присудить даже — на каторгу, например. А целое государство? Суди его не суди, ему как с гуся вода и как об стенку горох. Только тем его и осудить можно, что на войне разбить и у него что-нибудь отнять с бою... Вот так же точно выходит и у меня с имением. Воюют эти государства в миниатюре, и уж там чья возьмет, на то воля божия-с!

Елизавета Михайловна слушала его с недоумением. Он говорил что-то совсем не то, чего она ожидала от него под Новый год в «семейном кругу». Он же поглядывал на нее с сознанием какого-то непонятного ей своего достоинства и своей правоты. Чтобы как-нибудь отозваться ему, она сказала:

— Да вот и сейчас несколько государств воюет в Крыму, чему мы и были свидетели.

— Ага! В Крыму! Вот-вот! — очень оживился дядя, точно она весьма помогла ему такую незначительной репликой. — Об этом именно и пойдет у нас сейчас речь! — потер он крепко руки, хотя в комнате было тепло. — Не так давно читал я в «Инвалиде», что имеют желание англичане сделать Крым своею колонией, а французов приспособили доставать им из огня каштаны. Государство, видите ли, колоний себе ищет... Ну, а именно как?.. Если кругом его давят так, что локти не раздвинешь, то о чем оно может думать? Тоже о колониях?.. Колониями это не называется, конечно-с, а вот так, скажем, если бы где-нибудь в другой губернии, где земли дешевые, прикупить клочок, невредный, это ведь законом не воспрещается... И вот, дражайшая Елизавета Михайловна, и ты — ты также, Митя, — вы были в Крыму, а в Крыму — война, напали на нас негодяи, но мы-то, мы-то со своей доблестью, мы-то ведь отстоим Крым в конце-то концов, а? Отстоим или не отстоим, говорите прямо, по-родственному!

— Отстоим! — очень твердо ответил ему на этот раз как на весьма знакомый вопрос вполне определенным выводом Дмитрий Дмитриевич.

— Отстоим? Ага! Вон он, голос святой воина православного! Отстоим...

За это выпьем! — он опрокинул в открытый рот рюмку домашней наливки и, ничем не закусив, точно спеша договорить, продолжал: — Это и мое мнение тоже!.. Но я знаю, знаю некоторых таких, которые сомневаются в этом, малoverы! И даже осмеливаются утверждать противное-с! И вот теперь я вас хочу спросить обоих: есть ли и в Крыму подобные малoverы из помещиков, которые даже на свои имения рукой махнули-с и в грош их теперь не ценят, а? Есть ли?

— Я думаю, что таких найдется довольно, — сказала Елизавета Михайловна.

— Ага! Та-ак! Даже много? Приятно мне это слышать-с... Ну, вот-с что теперь: не знаете ли вы, дражайшая, там хотя бы двух-трех подобных, чтобы с ними письменные отношения завязать или даже доверенное лицо к ним послать, чтобы они могли быть настолько умны... настолько умны, чтобы с имениями своими теперь же развязаться, а я бы, дурак, может быть, надумал бы подходящую цену им предложить за бросовое это, ничемушное их имущество, а? За души, которые даже, может, и разбежались!

И, высказав, наконец, свою заветную, видимо, мысль, Василий Матвеевич выпрямился, глаза его выкарабкались из мясистых век и округлились, и появилось в них такое сосредоточенное выражение, как у ястреба в клетке.

Только теперь поняла Елизавета Михайловна, почему с такою готовностью отозвался Хлапонин-дядя на эстафету, подписанную именем его племянника: при помощи все того же уже обобранного им племянника Мити он думал утвердиться в смелой мысли о «колонии» в Крыму, которую можно бы было приобрести за полный бесценник.

Это заставило ее вздрогнуть от омерзения, однако она сдержалась, взглянув на мужа. Она даже заставила себя припомнить несколько фамилий крымских помещиков.

— На Каче там есть большое имение Мордвинова, — с трудом подыскивая слова, проговорила она. — На Бельбеке — Бибиковых... под Евпаторией — Ревелиоти...

— Ну, вот, ну, вот, вы, стало быть, знаете там многих, дражайшая! — так и потянулся к ней всем корпусом дядя. — И у всех, должно быть, душа в пятки ушла, и все, наверно, из Крыма умчались, а я бы так и

быть рискнул, да! Я бы напустил на себя смелости, и, конечно, с переводом долга, какой на имении числится, они могли бы пойти на сделку со мной, выгодную для них, а не для меня, для них, и во всех отношениях! А что касается меня, то тут — риск! Но-с я люблю рисковать! Я не зря ведь служил в молодые свои годы в министерстве внутренних дел и наружного бездействия, как это называлось! Наружная — молчок, замочек на ключике, а что касается моих внутренних дел, то здесь у меня, — постучал он себя пальцем по лбу, — крупные идут иногда разговоры и споры-с! А что такое наш помещик здесь, кругом меня? Я все их делишки насквозь вижу и знаю-с! У них по сто коров, а своего масла нет, — в городе покупают! У них телята маток сосут, — откуда же молоку быть и откуда маслу? Они только за зайцами по полям своим рыщут, а зимой в город — и к цыганкам! Жить на планете нашей и русским быть — это, дражайшая моя, задача из самых трудных! А чтобы еще и большим куском земли владеть, — наитруднейшая!.. Однако я на это готов идти и... пойду! Чувствую в себе силы для этого!

Василий Матвеевич глядел победителем и только на одну Елизавету Михайловну; увечного племянника своего он явно скидывал со счетов. Четыре свечи на столе в высоких медных ярко начищенных шандалах горели, потрескивая и склоняя в разные стороны лепестки пламени. Когда они нагорали, Василий Матвеевич кричал: «Федька-а!» — и из прихожей вскакивал в столовую рыженький казачок с щипцами, проворно снимал нагар со свечей, потом, не мешкая, выскакивал снова в свою прихожую.

— Чуть только запахло войною, — продолжал Василий Матвеевич с большим подъемом, — я, я весь внимание!.. Нужно было бы продать пшеницу нового урожая, но я ее не продал-с... я, чтобы обернуться с платежами, скот продал, на зиму глядя, а пшеницу и сено — это я оставил про-о-запас! — Он глубокомысленно сжал губы и поднял палец. — Война, думаю, не свой брат, война все подберет и крылышком из закровов повыскребет. И так что, может, пожалуй, случиться, понадобится вдруг и мой запасец, а?.. Но это я к слову-с. Главная же мысль моя витает не здесь, а там, откуда вы прибыть изволили, дражайшая, — в Крыму-с... Я ведь очень ревностно читаю

газеты-с. «Московские ведомости», «Северную пчелу». Я все про себя отмечаю за них и за нас, и, конечно же, не осмеливаюсь я думать, чтобы мы, большущее государство такое, не выгнали их, мерзавцев, посягающих на наше добро, вон, в три шеи! Вон, в три шеи!.. Я убежден в этом! Я патриот и убежден! Выгоним, а? Как, Митя?

— Выгоним, — как автомат повторил Дмитрий Дмитриевич, жуя соленую и твердую ветчину и глядя на своего дядю с немалым любопытством.

— А вдруг не выгоним? — почти прошептал дядя, склоняя голову в сторону Елизаветы Михайловны.

— Никто в Крыму так не думает, — сказала Елизавета Михайловна.

— А-а! Никто?.. Вот оно что значит геройство русское!.. А если не выгоним, — допустим на минутку-с, — тогда как? Тогда, значит, я опростоволосился, деньги мои пропали, продавец же в выгоде будет, вот что-с! Положим, что не такая большая уж будет его выгода, да я и той не хочу ему доставлять!.. А правительство... Что касается правительства, то ведь, посудите сами, дражайшая Елизавета Михайловна, как оно может войти в положение всех потерявших имущество в Крыму? Ведь и теперь, пока война еще только в начале, многие потеряли уже все и теряют, а разве кто-нибудь возмещает им? Вы об этом не слышали?

Теперь вид у Василия Матвеевича был оторопелый, как у потерпевшего от бомбардировки. Глядя на него, можно было подумать, что имение в Крыму, свою колонию, он уже потерял. Но что было совсем уж неожиданно, он глядел на Елизавету Михайловну умоляюще, скорбно, как будто она была — русское правительство и от нее зависело возместить или не возместить его потерю, и если возместить, то как именно, в какой мере: полностью или же только в какой-нибудь десятой части?

Но как только минутная стрелка старинных стенных часов подошла к двенадцати, Василий Матвеевич мгновенно сбросил с себя все заботы, даже и о потерянном под напором союзных сил имении в Крыму. Он стал торжественным. Он даже поднялся, чтобы собственноручно разлить по бокалам душистое пенящееся шампанское. Он никому не хотел передоверить обращения с этим

деликатным, дорогим напитком, а когда разлил его, сосредоточенно взгляделся в Дмитрия Дмитриевича и проговорил без передышки:

— В наступившем новом году желаю тебе, Митя, полного здоровья, вам же, Елизавета Михайловна, радости желаю видеть своего мужа опять в цветущем виде, а что же касается вас самой, то от всего сердца желаю я, чтобы так же цвели вы в наступившем году, как вот теперь вы цветете на мое сиротское счастье!..

Тут он неожиданно как-то коротко всхлипнул, — подготовлено это было им или нет, — и, припав к руке Елизаветы Михайловны, целовал ее по-родственному, может быть, но долго и крепко; впрочем, так же долго и крепко целовал и племянника. Мигая потом влажными ресницами, он казался до того растроганным, что можно было подумать: вот-вот теперь-то, наконец, он и заговорит о своем покойном брате, о его безвременной умершей жене, матери кадета Мити, об опеке над их частью имения и прочем таком, но он сказал, взяв со стола большеголовую пробку от шампанского:

— Спрячу и эту! Достаточно уж я их спрятал на всякий случай... Ведь он жив, как я недавно справлялся о нем... Он теперь уж в отставке, тайный советник и очень стар, но все-таки, как бы то ни было, живет в столице, знакомства кое-какие, поди, сохранил, так что в случае чего повезти ему чемоданчик пробок, авось что-нибудь и сделает в мою пользу-с!

## VIII

На другой день рано, только что встали в доме, явились хлапонинские крестьяне поздравлять своего барина, узнав еще накануне от дворни, что в Харьков, как это было у него в обыкновении, он не поехал. Их было человек десять выборных стариков, с ними и староста.

Довольно долго стояли они на дворе кучей; потом позвали их на крыльцо, где они сняли шапки. Наконец, отворилась перед ними дверь, в прихожей их встретил сам Василий Матвеевич и сказал с возможным для него добродушием:

— А-а, подлецы мои верноподданные! Входите, входите, не стесняйтесь, что наследите, что делать! Подотрут бабы. Приступайте к своим прямым обязанностям, только в комнаты не заходите, а с

порожку, с порожку...

Елизавета Михайловна не понимала, о каких обязанностях, так игриво поглядывая на нее, говорит он. Но вот мужички откашлялись, пощупали бороды, опустили руки в карманы полушубков и запели очень нестройно на пороге

столовой:

Дева Мария

В поле ходила,

Хлеба сеяла.

Направо махнет,

Там пшеничка растет,

А налево махнет,

Там жито растет...

Дай, боже, жита-пшеницы.

Всякой пашницы!

Сеем-сеем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

При этом вразброд, как кому вздумалось, бросали они в столовую из правых карманов пшеницу, из левых — жито, так что и на стол, за которым встречался накануне Новый год, и на стулья, и всюду на пол порядочно насыпали зерна.

Василий Матвеевич оберег остальные комнаты от такого приятного, впрочем, хозяйскому сердцу сора и сам проводил своих «подлецов-верноподданных» на кухню, где для них приготовлен был четырехгранный зеленого стекла штоф водки и подходящая закуска к ней.

Почетными же визитерами в этот день у Хлапонины-дяди были только поп и становой пристав, тот самый пристав, который помог ему однажды ни с того ни с сего оттягать у соседа полдачи в пятьсот с лишком десятин и помогал в другой, несколько затянувшейся вылазке в сторону чужих заливных лугов на речке Лопань.

Обедать молодым Хлапониным пришлось вместе с ними, и если старенький смиренный попик только прилежно слушал, особенно когда говорилось о Севастополе, и еще прилежнее, до крупного пота на постном лице, ел и пил, то становой пристав, громкоголосый,

осанистый, истый блюстителъ гробовой тишины и спокойствия, говорил один за всех, оставляя в тени даже и самого хозяина, который был с ним преувеличенно любезен.

Гости эти оказались очень усидчивы; они пробыли дотемна и утомили Елизавету Михайловну, так что спать она пошла рано, однако долго не могла уснуть.

Она подводила про себя итоги первым трем дням своей жизни в Хлапонинке и теперь начинала уж сомневаться в пироговском рецепте, действительно ли принесет он много пользы ее мужу. Все дело было, конечно, в Василии Матвеевиче, которого она даже стала бояться: он казался ей способным не только на любую подлость, даже и на прямое преступление; поэтому и дверь отведенной им комнаты она теперь старательно заперла на ключ и даже прислушивалась к каждому шороху за этой дверью. Потом зажгла свечу и начала писать письмо в Москву своему брату, адъюнкт-профессору, не найдет ли он возможности подыскать для них тихий уголок в Москве или под Москвою.

Но, засидевшись за длинным письмом, она расслышала ближе к утру протяжный отдаленный плач за окнами, очень жуткий, может быть даже и вой. Он шел переливами от более низких нот до самых высоких и щемил за сердце. Станным показалось и то, что собаки его как будто не слышали или не обращали внимания: они молчали.

— Митя, что это? — зашептала она, заметив, что муж проснулся.

— Где «что»? — спросил, поднявшись на здоровом локте, Дмитрий Дмитриевич.

— Плачет там, — кивнула она на окно. — Это не вьюга, ночь тихая, и луна...

— Это ничего, — прислушался Дмитрий Дмитриевич, — это — волки!

— Волки?.. А отчего же собаки молчат?

— Молчат отчего? Боятся, — бормотнул Дмитрий Дмитриевич и снова улегся и уткнул голову в подушку.

Новогодний волчий концерт продолжался почти до рассвета.

Глава вторая. Юбилей

## I

Брат Елизаветы Михайловны получил письмо ее тогда, когда у него не было даже и времени приискывать для Хлапониных тихую квартиру в Москве, а тем более под Москвою: Московский университет деятельно готовился к празднованию сотой годовщины своего основания, — сотого Татьянина дня, — 12 января 1855 года. К этому дню должен был выйти из типографии и особый сборник статей по разным отраслям знаний, составленный профессорами с понятной целью показать, на какой высоте стоит наука в стране, где низко стоит человек.

Бывший тридцать лет профессором Московского университета историк Погодин преподнес ему к сотому Татьянину дню совершенно исключительный подарок при таком письме:

«Имею счастье принести Московскому университету, к торжеству его столетия, частицу от руки св. Кирилла, Славянского Апостола, изобретателя нашей Грамоты, основателя Словесности. Какое место для нее достойнее Московского университета, оказавшего такие заслуги Отечественному Слову? Драгоценная частица отделена была для меня в 1835 году в Праге от кости, хранящейся в тамошнем соборе каноником Пешиною, который в свидетельство приложил к ней свою подпись и печать».

Кроме того, тот же Погодин предложил попечителю Назимову прочитать на юбилейном торжестве свое «Слово о Ломоносове», как основателе русской науки. Подобные же слова и речи готовили и Грановский, и Шевырев, и Соловьев, и другие профессора.

Ожидался большой наплыв депутатов из Петербурга: от Академии наук, от университета и других высших учебных заведений; наконец, приглашен был и обещался быть министр народного просвещения Норов, известный тем, что потерял ногу при Бородине, почему ходил на деревяшке и имел способность писать патриотические стихи.

Царь Николай в виде подарка к юбилею разрешил увеличить число студентов каждого факультета на пятьдесят человек, а кроме того, благоволил осчастливить студентов введением в курс университетских наук военного строя, которым студенты должны были

заниматься по часу с четвертью в день. Последний приказ царя начинался, впрочем, словами: «Узнав о пламенном желании студентов проходить военный строй...» И декан историко-филологического факультета Шевырев приветствовал это введение несколько выспренне: «Наука и война должны облобызаться для того, чтобы водворить мир во вселенной!»

Но не один только университет деятельно готовился к своему празднику, составлял программы торжеств, рассылал приглашения, наконец украшался и наружно, — вся культурная Москва приосанилась, подобралась, отложила на время карты, расстегаи, жирные кулебяки, начала осматриваться кругом, подсчитывать свои силы, чиститься духовно, тем более что «година невеселая настала», Крымская война затянулась, поговаривали о решенном уже созыве ополчения, — во всем кругом видно было большое напряжение сил, дававшее почему-то слишком ничтожные результаты.

Там и здесь читалось ходившее по Москве мрачное стихотворение Тютчева и смущало умы каким-то зловещим смыслом, скрытым в этих строках, первоначально написанных в альбом писателя Данилевского:

Стоим мы слепо пред Судьбою, —  
Не нам сорвать с нее покров...  
Я не свое тебе открою,  
А бред пророческих духов.  
Еще нам далеко до цели:  
Гроза ревет, гроза растет,  
И вот в железной колыбели,  
В громах родится Новый год.  
Черты его ужасно строги,  
Кровь на руках и на челе;  
Но не одни войны тревоги  
Несет он людям на земле.  
Не просто будет он воитель,  
Но исполнитель божьих кар, —  
Он совершит, как поздний мститель  
Давно задуманный удар.  
Для битв он послан и расправы,

С собой несет он два меча:  
Один — сражений меч кровавый,  
Другой — секира палача.  
Но на кого?.. Одна ли выя,  
Народ ли целый обречен?  
Слова не ясны роковые,  
И смутен замогильный стон...

— «Секира палача»! — повторяли читавшие, поднимая палец.

— «Одна ли выя»? Чья же именно «одна выя»? — поддерживали слушатели и переглядывались многозначительно.

А иные вспоминали прошлогодние стихи того же Тютчева, напечатанные в «Современнике», и замечали:

— То он призывал царя короноваться в святой Софии и стать «как всеславянский царь», а теперь что же он предсказывает такое? Ох, что-то, кажется, переметнулся из стана славянофилов к западникам наш исполнительный цензор!

Так как университет начал готовиться к юбилею еще за три года, озабоченный выпуском в срок биографического словаря профессоров, работавших в нем на протяжении столетия, то заветного дня ждали не в одной только Москве, а по всей России.

Кроме депутатов от университетских городов: Петербурга, Киева, Казани, Одессы, Дерпта, Гельсингфорса, ехали на праздник общерусской культуры на почтовых и долгих многочисленные бывшие питомцы юбиляра: старики, средних лет и молодые, иные из глубокой и глухой провинции, из губернских и уездных городов, из усадеб.

Они приехали взбодренные, взбудораженные, точно окропленные сказочной живой водой. Они заполнили все московские гостиницы и потом пустились отыскивать в Москве своих однокашников и профессоров. Они одни способны были заразить Москву шумной предпраздничной суетою, если бы Москве вздумалось вдруг отнестись к юбилею равнодушно.

Но исторический момент был настолько суров и важен, что равнодушию не могло быть места. Юбилей университета обратился как бы во всероссийский съезд верхнего слоя русских интеллигентских сил. Правда, съезд этот не то чтобы был разрешен строгим

правительством в тех размерах, какие он принял, однако же и запрещен не мог быть он, так как это был праздник.

Как-то сама собою образовалась в наглухо закупоренной русской жизни такая отдушина, в которую ринулись люди, имевшие возможность и средства свободно передвигаться, думать о судьбах своей родины, гореть стыдом за военные неудачи, говорить горячо и убедительно, — наконец, желавшие получить успокаивающие ответы на все тревожные вопросы, возникшие у них в почтительной дали от столиц.

## II

Один из таких питомцев Московского университета, ученик профессора Грановского, молодой историк Круглов, приехавший из Одессы, сидел у своего учителя дня за три до праздника и говорил возбужденно:

— Все время, от молодых ногтей, убеждали нас, что наше государство — сильнейшее в мире. Не скрою от вас, Тимофей Николаевич, слушать это было все-таки приятно, как хотите. Сознание того, что ты гражданин страны, хотя и весьма нелепой, но сильнейшей, рассудку вопреки, — это сознание, оно как-то поднимало, даже и против воли иногда. Надо же чем-нибудь гордиться, чтобы жить на земле! Нет-нет, да и повторишь: «А все-таки хоть и нелепая, да сильнейшая!» — и на душе как-то полегче станет... Даже и славянофильские бредни не были совершенно противны, — иногда, иногда, Тимофей Николаевич!.. Льстило все-таки самолюбию, как хотите, особенно там живучи, в Одессе. Вот тебе Черное море, а за Черным морем второй Рим, Константинополь, — кажется, и доплунуть до него можно, не то что на нашей эскадре доплыть... Да, думали мы, там — темнота, конечно, русская, крепостное рабство, гнусно и подло, не похвалишь, конечно, не за что хвалить, однако поди же вот, — прем во все стороны невозбранно! Не сокращаемся, а расширяемся — как газы! Растем, молодой народ с огромными задатками!.. Полюбуйтесь-ка на нас черненьких!.. А вот каковы мы будем, когда побелеем, — погодите, дайте срок, почтенные!.. Однако что же мы видим? И должен я сказать вам, Тимофей Николаевич, плохо мы себя чувствуем теперь, очень

плохо!.. Однажды уж были мы под обстрелом, вам известным; тогда даже и самому дюку Ришелье непочтительно ядро вклепили союзники: дескать, зачем из Европы сюда ушел! Но ведь всегда может повториться это удовольствие: море теперь уж не наше, а ихнее. Даже страшно временами становится, до чего же мы оказались слабы!.. Нас-то все уверяли, что мы — сильнейшее государство и прочее, а мы просто-напросто аракчеевцы оказались, людишки глупой и дикой формалистики, а совсем не дела! Капралы!..

Круглов был очень полнокровен, с косым пробором обильных темно-русых волос, близорук и потому сверкал стеклами очков в золотой оправе, сверкал возмущенно.

Грановский, человек лет сорока, с открытым, красивым, хотя и несколько болезненным лицом, высокий, но со впалой грудью, медленно позвякивая серебряной ложечкой в чаю и поглаживая левой рукой рано облысевшее темя, слушал своего ученика, слабо улыбаясь. За столом вместе с ними сидел и молодой адъюнкт-профессор Николай Михайлович Волжинский, брат Хлапониной, — преданный Грановскому и противник его университетских врагов — Шевырева, Бодянского и других. Он был похож на свою сестру, только черты его лица были чуть-чуть грубее, крупнее. Он сказал Круглову, товарищу по курсу:

— Теперь, брат, и Погодин наш забеспокоился: все пишет политические письма и, представь себе, неплохо, особенно если принять во внимание, что ведь адресует-то он их не кому-нибудь, а самому царю. Может быть, потому только и прибавил царь по пятьдесят студентов на факультет, что до него дошла такая погодинская фраза о трехстах студентах: «Если университетское образование так вредно, то за что же должны страдать триста невинных юношей, которых приносят ему в жертву, как чудовищному минотавру?{60} А если находят все-таки в нем кое-какую пользу, то зачем лишают его остальных юношей, тоже невинных?» Не правда ли, довод этот не лишен кое-какого остроумия?

— Непосредственно государю писал Погодин? — усомнился Круглов.

— Как же он мог непосредственно написать? Конечно, он мог это передать только графу Адлербергу, с покорнейшей просьбой доложить хотя бы в основных чертах... И о том, — говорил он сам, — писал

будто бы, что бедные лишились возможности учиться в гимназиях и университетах из-за введенной высокой платы за учение; писал, что дикая мера — юношам из податных сословий запрещать поступать в университет. Писал и больше того: «Дарования не ободряются, а уничтожаются; невежество подняло голову, из учебных заведений выходят только дрессированные болваны, машины, лицемеры, чем и объясняется то, что нас бьют теперь. Нет людей ни в одном ведомстве, не за кого взяться, чтобы поправить дело. Ни о каком предмете — ни философском, ни политическом — нельзя стало писать из-за строжайших на этот счет предписаний. Никакого злоупотребления даже издали выставлять стало нельзя. Даже из истории, как науки, исключены целые периоды, как будто их и не бывало, а о настоящих сословиях и ведомствах писать и подумать страшно... даже Платон{61}, Эсхил{62}, Тацит{63} — и те подверглись запрещению! Порядочные люди решились молчать, даже не только не писать, а и не говорить ничего, ибо незваных слушателей, конечно, гораздо больше, чем присяжных цензоров, а на каждого незнакомого человека приходится смотреть, как на шпиона. И вот зеленые ломберные столы заменили все кафедры и трибуны, и карты стали единственным утешением в жизни, единственным искусством, которому покровительствует правительство...»

— Насчет карт Погодин, очевидно, про себя лично сказал, — перебил, улыбаясь, Грановский. — Он очень скуп, как известно, и не любит проигрывать, а в последнее время зачастил в гости к графу Уварову, а у того ежедневно карты, и Погодин всегда был в проигрыше... Да, я тоже пристрастился к картам!

— Вы, Тимофей Николаевич? — изумился Круглов, блеснув очками.

— Я, да... И даже в долги влез благодаря картам... Пришлось продавать родительскую деревеньку, чтобы расплатиться. Единственное утешение мне при этом было, что вот папаша Хомякова{64}, говорят, в одну ночь умудрился целый миллион проиграть, а я, разумеется, гораздо меньше. — Он позвякал ложечкой в стакане и добавил: — Ничего не поделаешь, тоска заедает. Хотел вкуче с Кудрявцевым издавать исторический журнал, обратился за разрешением, мне ответили коротко, но вразумительно: «Не нужно!»

Донесли на меня, что я на лекциях не говорю: «По воле провиденья, по велению божью совершилось то-то и то-то», — то есть выходит, как бы совсем упраздняю промысел божий в событиях исторических, — пришлось мне по этому вопросу объясняться с самим митрополитом Филаретом.

— Объяснились?.. Пошли к Филарету? — удивился Круглов.

— Пошел... Иначе я был бы уже в отставке, — пожал плечами Грановский. — Впрочем, с первых же слов его едва не ушел. Но он решил, кажется, обольстить меня кротостью и усадил опять в кресло, с которого я поднялся. Старенький... дряхленький... говорит еле слышно... Сказал даже, что уважает науку и меня тоже уважает. Не помню уж в точности, какой именно елей он расточал, да стоит ли это помнить? Только ушел я от него с решимостью университета все-таки не покидать, а, сколько будет возможностей, в нем держаться. Надеюсь я все-таки на какой-то перелом к лучшему, теперь-то уж во всяком случае.

— В каком смысле «к лучшему»? Вы верите в нашу окончательную победу, Тимофей Николаевич?

— А разве у вас, в Одессе, верят в победу? — в свою очередь спросил Грановский.

— Лишены права не верить, однако же сильно сомневаются, — сказал и вопросительно поглядел на своего учителя Круглов.

— Вот видите, — сомневаются!.. Вы там ближе к театру войны, вам виднее. А мы здесь питаемся одними только газетными вестями да слухами; и то и другое — на любителей. О сообщениях официальных у нас принято говорить: «Убит один казак». Не знаю, кто пустил это в ход, а ядовито. Официальные известия становятся всегда очень скромны, чуть дело касается наших потерь. А ведь не скроешь, что смертей там множество. И умирают не бесславно, нет, русский человек умеет умирать доблестно, только жить не умеет. Перед русскими матросами, да и перед адмиралами такими, как Корнилов, Нахимов, Истомин, в шапке не стой, а стащи ее да земной поклон бей. Но кто же из нас не пойдет умирать за Россию? Вот, говорят, скоро объявят манифест об ополчении. Пусть и меня возьмут, — я пойду и умру радостно. Но вот если бы меня спросили: «А хочешь ли ты, положи

руку на сердце, полной победы России?» — я бы ответил, как человек, очень любящий свою родину, желающий ей только счастья и процветания, а не хамства в квадрате: «Нет, не хочу!»

— Не хотите? — поднял брови и сморщил лоб Круглов, но тут же добавил: — Я, пожалуй, вас понимаю, Тимофей Николаевич.

— Понимаете? — пристально поглядел на него взволнованный Грановский. — Тем лучше, не нужно толковать много... Из своих занятий историей я вынес взгляд, что победы в войнах очень редко бывают полезны победителям. Гораздо больше пользы извлекают из них побежденные, если только они не обескровели, если имеют достаточно сил, чтобы заняться коренными реформами, переделаться, обновиться... А ведь этот свекловичный николаевский пресс, под которым мы задыхаемся, что он такое по своей сути, как не результат александровской победы над Наполеоном? Получилось раздутое самомнение, шапкамизакидайство, — и ни апелляции, ни протеста, ни контроля! Не только Далай-Лама<sup>{65}</sup> сидит на троне, в каждом ведомстве есть свой непогрешимый Далай-Лама, и попробуй только не покури ему лестью, сейчас же крик: «Дави его!» А народ? Что для таких Далай-Лам народ, который вот теперь, в Севастополе, защищает честь России своею кровью? Он им известен? Разве только по ведомостям казенных палат! И я осмеливаюсь думать, что эта война — событие огромного значения в нашей жизни, — не в западной. Там это может быть только эпизод, для нас же несет она целый ряд открытий, и первое, что будет найдено благодаря ей, это потерянный русский народ! Затоптанный правительственными ботфортами в грязь народ выкарабкается из грязи, вымоется, очеловечится и заживет умно и свободно! Вот в какой результат этой войны я верю! Когда же восторжествует и вочеловечится наш народ, вот тогда-то он и будет по-настоящему непобедим! А торжество аракчеевщины и николаевских шпор! Это была бы ужаснейшая вещь, и наше счастье, что подобных фокусов современная история человечества выкинуть никому не позволит! Я сомневаюсь и в том, хотят ли этого даже и наши московские славянофилы! Сами по себе они — прекрасные люди, и у них бездна сведений, но вот это их пристрастие к допетровской Руси очень портит студентов, которые к ним льнут, и

злит меня чрезвычайно... Не знаю, будут ли они на нашем торжественном акте в качестве гостей, а я ведь должен быть на нем как профессор, я не могу ведь от этого отвертеться, а? — обратился он к Волжинскому.

— Думаю, что это было бы замечено начальством, — улыбнулся Волжинский.

— И истолковано, конечно... Однако же молодые профессора наши — и Леонтьев, и Соловьев, и даже Кудрявцев — как будто тоже не очень-то хотят присутствовать на торжестве... генерала Назимова и его приспешников Альфонского и Шевырева, а?

— Это одни только разговоры, Тимофей Николаевич! Они, конечно, будут, и Соловьев прочитает свою речь о Шувалове, основоположнике нашего храма науки.

— Соловьев о Шувалове, а Погодин, говорят, о Ломоносове? А еще кто выступит с речами? — любопытствовал Круглов.

— Про-вин-циал! — усмехнулся Грановский как-то одними только своими густыми сросшимися бровями. — Да если бы все заготовленные речи были произнесены на самом деле, то кто бы в состоянии был их переслушать?! Я думаю, что и одного митрополита Филарета будет достаточно, чтобы уморить своим «словом» всех депутатов и всех почетных гостей!

### III

Из одного только Петербурга приехало в Москву в особом поезде около трехсот депутатов. Между ними и выдающийся профессор Никитенко, и ведавший всеми военно-учебными заведениями старый генерал Ростовцев, и, наконец, сам министр просвещения Авраам Сергеевич Норов.

В вагоне, в котором ехали Норов, Ростовцев, Никитенко и другая чиновная знать, всю дорогу то пировали на деньги Ростовцева, то садились за карточные столы — испытанное средство отвлечения мыслей от всяких острых вопросов современности.

Поезд прибыл в Москву утром 10 января, и министр был встречен на перроне попечителем Московского учебного округа генерал-адъютантом Назимовым, ректором университета Альфонским и

деканами факультетов, между которыми играл главную роль Шевырев. В тот же день вечером Норов принимал у себя тех, кто должен был выступать с речами на торжественном акте. Очень внимательно прослушивал он речи, чтобы не проскользнуло как-нибудь то, о чем говорить воспрещалось. Приветствия различных deputаций также предварительно просматривались им; благодушный с виду старик этот, некогда совершивший путешествие в Палестину, в Египет, в Нубию, — в целях поклонения разным святым местам, — теперь был обременен большими заботами, так как Московский университет в глазах царя был гнездом вольнодумства, хотя по случаю юбилея и был почтен царской грамотой, текст которой составил Никитенко. Эту грамоту привез сам Норов, но пока держал ее при себе до акта.

Много было волнений и суеты и в этот день и накануне юбилея; наконец, настало двенадцатое число, и празднование началось обедней в университетской церкви в честь «великомученицы Татианы» — весьма длинной обедней, полной всяких отступлений в сторону нарочитой торжественности, так как служил ее сам митрополит Филарет.

Выступая в конце ее перед таким избранным ученым обществом, Филарет, конечно, назвал юбилея «обителью высших учений», привел множество текстов из посланий апостольских, обращался поочередно к каждому факультету с доказательствами того, что все науки заключены в одной книге — именно в «Книге бытия», и что «только Христос есть истина и жизнь».

Закончил же он так:

— Теки же, теки царским путем, царская обитель знаний, от твоего первого века в твой второй век! Подвизайся образовать подвижников истины и правды, веры и верности богу, царю и отечеству, которые бы жили истиною и правдою и готовы были за них пожертвовать жизнью. Ибо истина, когда за нее умирают, бывает особенно животворна. Аминь.

Последние слова митрополита были поняты всеми в связи с тем, что в университете вводилось обучение военному строю ввиду затянувшейся войны.

В скромной церкви, совсем не рассчитанной на такой огромный

наплыв посторонних людей, которых съехалось всего свыше пятисот, было страшно тесно и душно. От чрезмерного обилия ладана очень трудно стало дышать. Золотая, нелегкая на вид риза и митра, вся сверкающая золотом и драгоценными камнями, казалось многим, должны были доконать на этот раз тщедушного, ветхого Филарета; но велика сила привычки, — он все-таки вынес их бремя, — зато по окончании обедни сокрушенно пожаловался на свои немощи министру и просил обойтись без него на торжественном акте.

Норов сейчас же нашел выход из затруднения. Он сказал Филарету, что все устали, как и он, что все нуждаются в отдыхе, что без него и акт будет не в акт, но если отложить его до семи часов вечера, то и все отдохнут к тому времени, и, разумеется, он, владыка, тоже подкрепит свои силы.

Акт был отложен на вечер.

Никогда раньше не бывал иллюминирован Московский университет так, как в этот вечер. Теперь он был подлинным светочем для всех, кто проходил по Моховой улице, а тем более для тех, кто останавливался поглазеть на ярко сиявшие окна, пока полиция не кричала: «Ррасходись! Чего надо?»

Однако университетский актовый зал оказался еще менее вместителен, чем церковь, и как в церкви депутаты стояли, так же пришлось стоять им и здесь, иначе многим не хватило бы места. Все были в тесных, обношенных парадных мундирах, при всех знаках отличия — орденах, звездах, лентах, — все должны были плотно прижиматься один к другому, вытягивая при этом шеи и спинные хребты, чтобы что-нибудь разглядеть и расслышать, все обливались потом и завидовали тем немногим петербуржцам, которые сидели рядом с министром, Назимовым, Альфонским и Филаретом около кафедры. Грановский же положительно задыхался и по своей слабогрудости и от возмущения тем, что Леонтьев и Кудрявцев, задумав не прийти и действительно не придя на акт, не предупредили его об этом. Он видел, что ему совершенно нечего было тут делать, особенно когда выяснилось накануне, что ему выступать с речью едва ли придется. Но Соловьев был здесь и, держа в руках сверток с речью об Иване Ивановиче Шувалове, стоял в первом ряду, чтобы, не

мешкая, занять место на кафедре, когда дойдет до него черед.

Торжественное заседание (на котором почти все стояли) открыл Норов чтением царской грамоты. Читал он ее несколько шепелявя, но с чувством верноподданнического трепета, когда дошел до слов: «Обращая внимание на столь существенные заслуги Московского университета, мы в торжественный день празднования столетия его общепольной жизни в особенное удовольствие себе вменяем изъявить ученому сословию оногo наше монаршее благоволение и признательность».

Конечно, по прочтении грамоты все слушатели кричали «ура», оркестр заиграл «Боже, царя храни», а корреспондент «Московских ведомостей»{66} успел разглядеть «слезы глубочайшего умиления, слезы радости и восторга, блиставшие во взорах всех присутствовавших».

Но не успели еще высохнуть эти слезы, как тот же Норов, несколько даже растрепанно-волосый от избытка обуревавших его чувств, передав царскую грамоту Альфонскому на вечное хранение в стенах университета, вытащил из тайников своего штатского мундира, украшенного тремя звездами, рескрипт наследника о том, что он «милостиво соизволил» принять предложенное ему звание, почетного члена Московского университета.

Передав Альфонскому и эту драгоценную бумагу, Норов уселся наблюдать, как будут после него выступать и другие.

И первым выступил тяжеловесный маститый заика Ростовцев{67}. К счастью, это выступление его было коротко: он только поздравил университет от имени наследника, чем, конечно, тоже вызвал «слезы умиления во взорах». Его сменил генерал Назимов, прочитавший рескрипты великого князя Константина и великой княгини Марии Николаевны.

Тяжело дышащий Грановский при чтении последнего рескрипта, свирепо нахмурясь, поглядел выразительно на стоявшего рядом с ним Волжинского. Молодой адъюнкт-профессор понял его взгляд так: «Этой-то еще какое дело до нашего университета?!» — и сочувственно ему улыбнулся.

Потом на кафедру подымались, с великим трудом протискиваясь к

ней, депутаты для чтения поздравительных адресов. Депутатов этих было множество: и от духовных академий, и от военной академии, и от медико-хирургической, и от училища правоведения, и от лицеев, и от нескольких высших институтов, и даже от общества сельского хозяйства.

Большого разнообразия не было, конечно, в их речах и не могло быть. Многие говорили о том же, что удалось Никитенко вставить в царскую грамоту, что Московский университет «образовал отличных писателей и ученых, доставивших честь России своими дарованиями и трудами». Но как бы то ни было, это был все-таки парад русских ученых сил того времени. Помоложе, постарше, и еще старше, и еще маститее, они, представители мысли, первый раз за все царствование Николая получили возможность собраться в таком внушительном количестве и хотя бы показаться друг другу.

Однако шло время, — не минуты, а часы... В люстрах трещали и чадили свечи... Воздух становился все гуще и гуще... Мысли тупели, затекали ноги...

Когда последний по списку депутат, — от московского общества сельского хозяйства, — проскандировал с кафедры свой адрес, многие думали, что будет сделан перерыв, во время которого можно бы было незаметно исчезнуть; так же думал и Грановский, однако напрасно думал.

Перерыва не сделали. Поднялся тяжеловесный Альфонский: ему полагалось по программе торжеств прочитать записку о действиях университетского начальства, но впереди было еще шевыревское длиннейшее «Обозрение столетнего существования Московского университета», потом речи профессоров и академика Погодина.

Грановский заметил, как Норов, обеспокоенно поглядев на часы, поманил к себе пальцем Соловьева и, взяв у него «Благодарное воспоминание», энергично начал чертить по нем ногтем. Дело было явно в том, чтобы сократить речь насколько возможно. Соловьев был красен, взволнован. Погодин, которому предстояло познакомить ученых России с заслугами Ломоносова, встревоженно поглядывал то на ректора, то на министра.

Но вот окончил ректор свой доклад — и вниманием всех овладел

речистый Шевырев. Невысокий, но очень плотный, мясистолицый, с приемами записного оратора, начал он излагать историю Московского университета, начиная со времен Елизаветы и Шувалова. И Грановский видел, как по мере углубления оратора в суть своей темы подвижное, нервное лицо Погодина все чаще кривилось и все гуще темнело: акт начался в семь часов, а шел уже одиннадцатый, — мало оставалось у него надежды блеснуть своим красноречием перед такою единственной по подбору аудиторией. Раньше его должен был поведать о Шувалове Соловьев, но его снова позвал к себе Норов и что-то шептал ему на ухо.

Историей Московского университета Шевырев начал заниматься прилежно еще за три года до юбилея и труд свой успел даже напечатать для раздачи депутатам, так что материала для речи накопил он много, но силы слушателей иссякали, — и это замечал Норов и старался делать ему знаки бровями и губами, Шевырев, наконец, понимающе кивнул ему головой и закончил свою речь обращением от лица университета в сторону министра:

— Голосом любви и щедрой милости к нам возлюбленного нашего монарха, услышанным нами из уст исполнителя его державной воли в деле народного просвещения, открылось наше столетнее торжество! Со слезами радостного умиления мы вложили в сердца наши царское к нам слово. Единодушный взрыв восторга был на него ответом... Государь наследник-цесаревич благоволил прислать нам со своим уполномоченным милостивое свое поздравление и принятием звания почетного члена сам изволил вступить в ученое сословие наше.

Дальше так же витиевато и фальшиво умилялся Шевырев поздравлениями великого князя Константина и великой княгини Марии Николаевны и «повергал благоговейные чувства неизменной преданности Московского университета к стопам их...»

Затем он обратился к депутатам, «много прекрасных венцов возложивших на маститое столетнее чело Московского университета», и просил их «принять признательное приветствие во имя любви к науке и отечественному просвещению».

Ему же поручено было огласить и список лиц, избранных в этот день Московским университетом в свои почетные члены. В этот список

наряду с великим математиком Лобачевским попал и златоуст одесский Иннокентий, наряду с Плетневым — генерал Ростовцев и наряду с Пироговым — лейб-медик царя Мартын Мартынович Мандт, бывший в те времена, что называется, «притчей во языцех».

Пробило одиннадцать часов. Норов видел, что утомление ученых достигло предела. Он еще раз подозвал к себе Соловьева и сказал ему, что речи его и Погодина приходится отменить по недостатку времени.

Торжественный акт был закончен Шевыревым, прочитавшим под аккомпанемент музыки им же сочиненную раболепнейшую кантату.

Он, Степан Петрович Шевырев, оказался подлинным героем этого дня. Он точно по мерке был выкроен именно для подобных торжеств. А Грановский, уходя с заседания, бурно негодовал по адресу Кудрявцева и Леонтьева, обращаясь к Волжинскому:

— Какой низкий, какой подлый в отношении меня поступок! И будут еще потом уверять, что питают ко мне дружеские чувства! Ведь умнее умного сделали, что не пришли на эту китайщину, — отчего же мне не сказали, что не пойдут? Я тоже мог бы просидеть этот вечер дома и отлично бы сделал. А то ведь я почему-то был уверен, что всем нам, несчастным, в строжайшую обязанность это вменено, — непременно торчать деревянными болванами на этом глупом акте!

Погодин же был недоволен своим другом Шевыревым, который отнял у него широковежательностью своею блистательную возможность пожать лавры, единственные в своем роде. Однако вспомнив, что был приглашен на вечер к Юрию Самарину, молодому славянофилу, поехал туда прямо с акта и там отвел душу: прочитал о Ломоносове собравшимся гостям, среди которых, кстати, было несколько бывших студентов Московского университета.

Это был первый по времени праздник в честь юбиляра в частном доме. За ним пошли ежедневные званые вечера: хлебосольная Москва была рада новому и такому незаурядному предлогу собираться для бесед и ликований. 13-го вечером собрал у себя многочисленных гостей Леонтьев, причем подарил им, никого не обделив, по экземпляру своих «Пропилеев».

На этом вечере, конечно, говорилось совсем не то и не так, как

говорилось 13-го же днем в залах университета, открытых для торжественного обеда на пятьсот персон, причем обед этот давался Москвою официальной, то есть самим московским генерал-губернатором, графом Закревским.

#### IV

Только на третий день праздника, строго держась заранее составленной программы, дошли до студентов. Норов решил в этот день несколько отдохнуть от депутатов и отобедать в тесном кругу профессоров университета и студентов, имея, впрочем, при этом и кое-какие еще соображения.

Он сам заговаривал со студентами, он старался казаться совсем своим, простым — душа нараспашку. Между прочим, полковой оркестр был приглашен для увеселения студентов, и оркестр этот играл одни только военные марши, причем особенно отличались трубачи и барабанщики.

Только что все заняли места за столами, поднялся присяжный оратор Шевырев и обратился к министру:

— Ваше высокопревосходительство! Добрейший начальник наш! Когда в священную брань двенадцатого года лежали вы с оторванной ногой на поле Бородинском, думали ли вы, что провидение с поля брани приведет вас на мирное поле науки и просвещения? Когда вы совершали ваши ученые и духовные странствия по Египту и Нубии и по священным местам Палестины, к семи церквам апокалипсическим, думали ли вы, что собираете духовные силы на святое служение просвещению вашего отечества? Бог наградил вас за вашу бородинскую рану, за ваше доброе сердце, за ваши искренние набожные странствия и привел вас стать во главе русского просвещения в такую важную минуту отечества, когда нам угрожает другая священная война, может быть еще более ужасная и истребительная, чем война двенадцатого года. В событиях настоящих есть много знамений дивных: думаю, что недаром в такое время и в день столетнего торжества Московского университета в министре народного просвещения видится нам инвалид Бородинской битвы!

— Позвольте, позвольте мне сказать несколько слов! — возбужденно

прервал его Норов, вскакивая с места. — В моей жизни были только две полные счастья минуты; первая, когда под Бородином пролил я кровь за царя и отечество, вторая — эта!

Студенты кричали «ура» и хлопали в ладоши; полковой оркестр сыграл короткий туш. Шевырев же продолжал, когда все успокоилось: — Третьего дня вы, ваше высокопревосходительство, принесли нам сюда грамоту любви и милости царской. На этом самом месте громко возвестили вы ее всем, благоговейно внимавшим; каждое слово ее коснулось нашего слуха, каждое слово ударило в сердце!

Оратор приложил руку к сердцу, и студенты снова закричали «ура», и оркестр заиграл соответственное, знаменовавшее высшую степень восторга.

— Да, уверьте государя, — закончил он, — что, кроме этой будущей армии, в нас ему готова армия духовная, снаряженная его же монаршими заботами об университете, воинство мыслящее, которое сумеет постоять против Запада за святыне начала нашего отечества!

Но эти слова были уж, пожалуй, лишними, являясь повторением предыдущих, а может быть, Шевырев, сознательно повторяясь, сам хотел несколько умерить высокий полет им же возбужденных чувств, чтобы нащупать переход к началу обеда.

Обед начался, наконец, но старинный сослуживец Шевырева, академик Погодин, который тоже был приглашен на пиршество, не хотел упустить удобнейшего случая выступить вслед за своим другом. Он обвел зал загоревшимися глазами испытанного словесного бойца и произнес с пафосом:

— Милостивые государи! Настоящие минуты драгоценны! Они — чистейшая поэзия! Они принадлежат истории! В чувствах и выражениях этих минут заложены и семена тех дел, коими наши братья защищают четыре месяца Севастополь от грозных сил и адских изобретений всей Европы. Достойный министр засвидетельствует государю нашу неограниченную преданность своему священному долгу. Старый студент, ваш товарищ, хотел я прежде всего пожелать вам, молодые, любезные, хоть и незнакомые мне друзья, встретить новое столетие университета в полном удовольствии и радости.

Теперь желать мне этого не нужно. Больше радости и удовольствия не бывает, чем сколько вы испытали в эти минуты. Я должен пожелать вам на будущее время учения и труда поддержать чистую славу нашего святилища, которому, вы слышали, какую честь воздал сам царь и его дети, которому все отечество сочло священным долгом выразить чувства глубочайшего уважения. Московский университет особенной любовью пользуется в России: все почитают его родным! Я видел стариков, которые, почти на одре смерти, оживлялись воспоминанием о годах, проведенных ими в университете. Ныне старые студенты собрались со всех концов России, чтобы только провести юбилейный день в стенах университета. Желая вам, друзья мои, воспитать в своих сердцах те же благородные чувствования... Да здравствуют студенты Московского университета!

Опытный словесный боец хорошо рассчитал удар. Молодежь, за которую поднял он бокал, была польщена и отозвалась на него шумно и восторженно. Так что Норов, оставляя за недосугом пир, заявил расчувствованно:

— Благодарю, от души благодарю начальников и профессоров университета за воспитание таких прекрасных юношей! Третья моя счастливая минута в жизни будет та, когда я всеподданнейше донесу государю о том, что я здесь видел и слышал!

Ему нужно было беречь свои силы: в тот же день он приглашен был на вечер к попечителю Назимову. Конечно, не все депутаты могли попасть на этот вечер в частной квартире, но все-таки прием был оборудован на очень широкую ногу. На вечере этом Шевырев продекламировал оду, которая была им написана в честь Назимова. Две первые строфы ее были таковы:

Тебе судил всевышний с нами  
Столетний праздник пировать  
За то, что нашими сердцами  
Умеешь мирно обладать.

За то, что чтить отцов преданья,  
Науки любишь красоту

И ценишь высоту познания,  
Но больше сердца чистоту...

На эту оду, впрочем, скоро стала ходить по рукам пародия,  
сочиненная молодым ученым, учеником Грановского, Борисом  
Чичериным:

Тебе судил всевышний с нами  
Столетний праздник пировать  
За то, что мерными шагами  
Умеешь ты маршировать,

Что чтишь на службе ты дубину,  
Мундиров любишь красоту,  
За то, что ценишь дисциплину,  
А также комнат тесноту...

И этот праздник омраченья  
Вершим мы миром в честь твою...  
Подай нам, господи, терпенья,  
Чтоб выносить тебя, свинью!..

Но будь ты во сто раз сильнее,  
А все ж не сделаешь никак,  
Чтоб был Альфонский поумнее,  
Чтоб Шевырев был не дурак.

На следующий день для министра и депутатов был дан вечер графом  
Закревским в его доме. Неутомимый Шевырев и там выступал с речью  
от лица университета.

Этой, как и другими речами своими, Шевырев заработал себе  
приглашение в депутацию от университета в Петербург, к царю, «для  
принесения почтительнейшей и всеподданнейшей благодарности» за  
грамоту и награды, данные профессорам. Депутация была  
немноголюдна, она состояла всего из трех лиц: Назимова,

Альфонского и Шевырева.

Успех вскружил голову Шевыреву и возбудил немалую зависть в его друге Погодине. Чтобы как следует напомнить культурной Москве и о себе и, главное, прочитав все-таки большому числу депутатов, а также студентов не прочитанную на акте речь о Ломоносове, Погодин при всей своей скупости решил сильно потряхнуть мощной и в первое же воскресенье после официальных празднеств созвал к себе, на Девичье поле, гостей не только на вечер, но и на бал для молодежи.

V

Продавший, хотя и в рассрочку, за полтора ста тысяч рублей серебром свое «древнехранилище» в Императорскую публичную библиотеку, Погодин мог считаться вполне состоятельным человеком. «Древнехранилище» это собиралось им много лет, как любителем и знатоком, и состояло не только из старинных рукописей, автографов царей, грамот, документов бытового свойства, книг, гравюр и портретов; в нем, кроме того, было и множество старых икон, крестов, монет, резьбы по дереву, кости и камню, печатей, старинной утвари, оружия, серег, колец, запонок и прочего, найденного в древних курганах.

Привычки своей к собиранию всяких подобных редкостей Погодин не оставил, конечно, и после продажи «хранилища», и предметы эти снова и снова приносились и привозились им из поездок в большом количестве, стремясь еще раз загромоздить собою его деревянный дом. Но дом этот все-таки был достаточно обширен, чтобы в нем нашлось место и для нескольких десятков гостей.

Молодежью, явившейся для прелестей бала, занялись его дети, из которых старший был уже студентом Московского университета и доставил за год перед тем достаточно горьких минут отцу тем, что за него, как за всякого другого студента, потребовали с академика, бывшего профессора, плату двадцать пять рублей за семестр; по этому поводу Погодин затеял было переписку с ректором Альфонским, но тот просто предупредил его официальной бумагой, что если плата внесена не будет, то сын его будет уволен; пришлось подчиниться.

Приглашенных на вечер депутатов и своих московских знакомых и

бывших сослуживцев и сотрудников (бесплатных) издаваемого им журнала «Москвитянин» Погодин очень радушно встречал сам и, как истый коллекционер, тут же, с приходу, стремился показать им новинки своего музея.

Самородок, сын крепостного, Погодин и теперь, в пятьдесят пять лет, отличался неиссякаемой энергией, которая свойственна была ему в молодости и выдвигала на первые места среди товарищей. Его страсть не только к старинным книгам и рукописям, но и к древним вещам, оружию, утвари, конечно, питалась тем, что был он историк, но, с другой стороны, может быть, и историком-то стал он только потому, что с детских лет жила в нем чисто крестьянская, трудовая внимательность к тому, как именно и что делалось человеком сто, двести, пятьсот, тысячу лет назад...

Заполнившие вместительный кабинет хозяйственно устроенного погодинского дома гости-депутаты и гости свои, привычные москвичи, сблизились между собою очень быстро. Этому помогли не только древности, собранные Погодиным: каждый из гостей имел в своей области крупное имя, и даже единственный среди штатских молодой генерал-майор Милютин, профессор военной академии, был известен всем остальным своей пятитомной «Историей войны Павла I с Францией» и другим трудом: «Суворов как полководец». Правда, никто не предполагал тогда, что этот скромный с виду человек, которому даже и усы, соединенные с бакенбардами, не придавали воинственного вида, очень вежливый, предупредительный, приятный на вид, но отнюдь не пышащий каким-нибудь исключительным здоровьем, доживет почти до ста лет, будет военным министром, графом, фельдмаршалом, преобразователем русской армии после Севастопольской войны...

Из историков, кроме него, были: академик Устрялов, профессор Казанского университета Бабст, Грановский, Кудрявцев... Был Никитенко; был филолог Яков Карлович Грот, профессор Александровского лицея; были депутаты Публичной библиотеки Бычков и Коссович, более других заинтересованные в новых «древностях» погодинского хранилища; был Катков, редактор «Московских ведомостей», а из москвичей не служащих — Хомяков,

Иван Киреевский, Кошелев, Константин Аксаков — наиболее видные славянофилы, которых Закревский с генерал-губернаторской легкостью мыслей смешивал с петрашевцами, говоря о них: «Хотя из московских «славян» никого не нашли запутанным в этом заговоре, но что же это значит? Значит, все тут, да хитры, не поймаешь следа!..» Впрочем, след этот, по его мнению, был «пойман», когда перед Крымской войной появилось в рукописи знаменитое стихотворение Хомякова «России». С этих пор Хомяков и его друзья были в опале, хотя граф Блудов и защищал их при дворе, говоря, что они не опасны уже потому, что «все на одном диване поместятся».

На вечер были приглашены также и несколько молодых университетских преподавателей и адъюнктов, как Волжинский, но они держались с зеленой молодежью в зале, где уже гремела, доносясь в кабинет, бальная музыка. Притом же вопросы бытия в этот исторический момент оказались так уныло сложны, что они охотно и всецело предоставили решение их людям старших поколений.

## VI

У Погодина была способность с такой горячностью говорить о любой вещи своего хранилища, что вещь привлекала внимание даже и людей, далеких от музейных интересов. Но вот он сделал свое нервное лицо особенно таинственным и серьезным и достал из письменного стола какую-то бумагу, истлевшую на углах, толстую, светло-синего цвета с полосами, явно старинную, и, поднимая ее над головой, сказал, обращаясь ко всем, кто был ближе, но больше всего к Бычкову:

— Вот удача моя, прошу полюбоваться! Автограф крупного исторического лица прошедшего века... Как бы вы думали, чей именно? Я вам скажу сам, не буду томить: Волынского Артемия Петровича! Кабинет-министра! Главы русской партии при Анне Иоанновне!

Москвичам этот автограф был уже знаком, приезжие же, тесно окружив Погодина, с большим любопытством рассматривали крупный энергический почерк одного из сподвижников Петра, через пятнадцать лет после его смерти кончившего жизнь на плахе благодаря

Бирону{68} и Остерману{69}.

— Как же к вам попало это, Михаил Петрович? — весь так и просиял Бычков.

— О-о, это целая история! — воодушевился Погодин. — Некий Куприянов в прошлом году прислал мне для «Москвитянина» письменный памятник, — в копии, разумеется, — под названием «Инструкция дворецкому Ивану Немчинову о управлении дому и деревне...» Год помечен — 1724-й, а подписи нет, и кто писал эту инструкцию, неизвестно. Упоминаются, правда, в ней деревни: Никольское, Архангельское, Васильевское, ведь эти названия ходовые, по престольным праздникам в церквах, таких деревень или сел в России сколько угодно. Есть, правда, еще Петино, более редкое, и, наконец, Батыево.

— Вот это имечко! — подхватил Никитенко.

— За него-то я ухватился и давай искать, где может быть Батыево, — продолжал Погодин оживленно. — Однако к кому ни обращался, сейчас же вопрос: «А какого уезду?» Как будто я сам не нашел бы его, если бы уезд знал! Так несколько месяцев прошло, втуне были мои поиски. Но вот однажды посещает меня одно лицо из Костромы и говорит: «Есть около нас одно село — Батыево». Я так и вскочил с места. «Где? где, кричу, это село?» — «А возле Кинешмы, Костромской губернии». — «Кому принадлежит?» — «Теперь генералу Павленкову, а ему досталось от Воронцовых, а Воронцовым в род попало от Волынского. Да вот, кстати, говорит, я вам и автограф его, этого самого Волынского, завез...» Тут, конечно, мне все стало ясно, а то в «Инструкции» упоминалась почему-то Астрахань, даже и Персия, а мне и невдомек, что ведь Волынский правил Астраханью, а в Персию посылался Петром заключать договор и поручение выполнил блестяще.

— Вот эта самая рука избила Тредьяковского, — поднося близко к глазам автограф, сказал Грот.

— И мичмана князя Мещерского, — добавил Бабст, — что известно из истории, но сколько было подобных избиений, в историю не попавших?

— Какая б ни была вина, ужасно было наказание, — заметил Катков.

А Милютин добавил:

— Однако и его жестоко однажды избил Петр за лихоимство, кажется, как и Меншикова.

В это время Грановский, который давно не заходил к Погодину, заметив какую-то новую для себя картину в старой рамке, засунутую небрежно за книжный шкаф, вытащил ее, поднес к канделябру и застыл над нею, изумленный.

Картина отнюдь не была покрыта пылью, как можно бы было ожидать, судя по месту, где она находилась. Напротив, она была как будто только недавно протерта влажной губкой, и краски ее казались свежими. С нее на Грановского незряче глянуло очень знакомое, большое, мертвенно желтое лицо, несколько ушедшее в подушку красного бархата... Высокий лоб, жидкие черные с проседью волосы, курчавящиеся у виска; небольшие, концами кверху направленные усы; крупный подбородок, несколько раздвоенный, и какое-то странное, пожалуй, но явно необходимое, талантливо схваченное художником несоответствие между верхней и нижней частью лица.

Верхняя часть была уже в состоянии потустороннего покоя. Она как будто мыслила, но эта мысль, таившаяся под веками закрытых глаз и в мощных линиях лба, казалась уже не здешней, не земной, а отошедшей в сторону, выше, дальше — все понявшей и все простившей. Но губы как будто еще дрожали... Рисунок их поражал вложенной в них энергией. В них ясно чудилась досада, гнев даже и вместе с тем скорбь... С чем еще не совсем примирился этот человек, уже отошедший от жизни? На что он гневался? О чем скорбел?

— Петр? — спросил Грановский бывшего около него Хомякова, хотя и видел, что спрашивать было не нужно.

— Петр, конечно, — дернул плечами Хомяков, низенький, черноволосый, хотя и по шестому уже десятку, слегка раскосый.

— Кто же смог написать его так?

— Неизвестно... Художник не подписался.

— А между тем поразительно!.. Я плохо понимаю в живописи, может быть, а? Вы — лучший знаток, Алексей Степанович, вы сами писали красками...

— Даже иконы писал для одного костела, — улыбнулся Хомяков. —

Когда-то, когда-то очень давно, за границей дело было.

— Ну, вот... Как вы находите?

— Сделано удачно, мне кажется.

— Удачно?! Только-то! Потрясающе сделано! Половину своей библиотеки отдал бы я за этот портрет!

Грановский говорил возбужденно громко, и Погодин увидел, как все от него повернулись в сторону портрета Петра на смертном одре. Это выбивало его из той последовательности, которую он себе составил для показа гостям своих сокровищ. Даже больше того: Петр сознательно был им запрятан в укромное место, чтобы он не бросался в глаза. Но раз уж его вытащили на свет за спиной у хозяина, делать было нечего, пришлось спрятать автограф Волынского и подойти к «Петру».

— Михаил Петрович, откуда вы взяли это? — взволнованно спросил Грановский.

— История этого портрета такова, — берясь за рамку картины, как бы не доверяя этому слишком любознательному гостю, начал объяснять Погодин. — У Петра был кабинет-секретарь Макаров. Может быть, в общей суматохе тут же после смерти Петра он и приказал какому-то художнику с возможной точностью...

— И быстротю, — вставил Хомяков.

— И быстротю, конечно, потому что положение во дворце тогда было бесхозяйственное, безобразное, всяк молодец на свой образец, — подумать только, этакий колосс рухнул! И вот художник расположился, как ему показалось, удобнее и набросал наскоро, а после, у себя дома, должно быть, закончил.

— Нет, этого лица дома закончить нельзя было! — с жаром возразил Грановский. — Может быть, подушка, костюм, но лицо — нет! Такое божественное лицо можно было написать только с натуры, не отходя от него ни на шаг!

— «Божественное лицо» вы сказали? Что же вы находите в нем божественного? — спросил Аксаков.

Одного роста с Грановским, но гораздо шире его в плечах и с выпуклой грудью, более молодой годами и несокрушимого с виду здоровья, он глядел на профессора-западника не как на

представителя взглядов, ему враждебных, а с простым, самым искренним непониманием его восторженности.

— Да, божественное! — подтвердил Грановский несколько запальчиво.

— Лицо человека, который дал нам право на историю, который один указал нам на века вперед наше историческое призвание, не божественным и быть не может! И художник, никому из нас не известный, это понял, и увидел, и схватил!

— Позвольте все-таки мне прежде всего придраться к выражению вашему: «никому из нас не известный художник», — медленно подбирая слова, обратился к Грановскому обрубковато сложенный и оплывший под тяжестью своих пятидесяти лет академик Устрялов. — Мне, занимавшемуся историей Петра, кажется, например, что можно, приблизительно конечно, назвать имя художника. Это может быть Таннауер, или писали и так: Даннауер, Данаур... Он был саксонец родом и придворный художник при Петре. Во всяком случае мне помнится, что в год смерти Петра был он в Петербурге... Он и при жизни Петра писал портреты его и Екатерины...

— А насколько я помню, — живо подхватил Хомяков, — был еще в те времена в Петербурге Петром же из Голландии вывезенный художник Хзель или Кзель... Так вот, может быть, это его работа, Кзеля?

— Что же касается божественности в лице, то как же иначе мог бы его изобразить придворный живописец? — усмехнулся Кошелев. — На то ведь они и существовали, чтобы превращать всех тиранов в богов, за то и получали свои оклады, а также чины и знаки отличия.

— Когда я был в Праге в последний раз, — поспешил выступить Погодин, чтобы замять некоторую резкость слов Кошелева, — мне там говорили о чешском художнике Купецком, который приглашен был писать портрет Петра, когда Петр лечился в Карлсбаде. Купецкий явился было со своей палитрой, но в страхе бежал!

— Еще бы не бежать! — заметил Аксаков.

— Но потом все-таки ему объяснили, что ему опасаться нечего, что русский царь его не изувечит и головы ему не отрубят, так как он не русский стрелец, а известный венский живописец, — продолжал Погодин, — и он портрет написал, и даже успел полюбить страшного

русского царя за время разговора с ним, причем Петр говорил по-русски, а Купецкий по-чешски, но они отлично понимали друг друга.

— Вот, кажется, именно этого самого Купецкого Петр и приглашал к себе в Петербург, но он не поехал, а по его рекомендации Петр и взял Таннауера, — сказал Устрялов.

— Хорошо, пусть будет Таннауер, пусть будет Кзель, пусть кто-нибудь третий, мне в конце концов безразлично это, — отмахнулся рукой от Устрялова Грановский. — Ведь дело не в художнике в данном случае, а в Петре, который гениальнее, чем любой из русских людей, и досадно не оценен нами! Ведь взять кучу сырых исторических фактов и представить их в хронологическом порядке, это не значит еще дать образ Петра! Ведь раз и навсегда осудить Петра за то, что он рубил головы стрельцам и брил бороды боярам, это значит смотреть на Петра слепыми глазами! Это значит в душе своей носить гроб, а не трепет жизни живой! Как же можно быть уже Петра, говоря о Петре? А попробовал ли кто-нибудь у нас из историков, не говорю уж подтянуться к Петру поближе, а хотя бы посмотреть на него из почтительного далека, да так, чтобы был он весь ему виден, а не по кусочкам! Не знаю, господа, как у кого, а у меня именно теперь тоска по Петру, который лично ходил на Азов и его взял лично. Ходил на Карла и разбил его под Полтавой, создал такой флот, который восторжествовал над сильным шведским флотом, — не прятался от него, а искал с ним встречи и победил! Никогда лицо народа не проявляется так резко и так верно, как во время защиты от нападения! Вот именно тогда-то и напрягаются все его силы и способности, тогда-то и появляются таланты и гении. Я, конечно, знаю эти голоса, отрицающие даже и необходимость великих людей в истории, утверждающих, что роль их была искусственно раздута, а теперь совершенно кончена, что народы сами, без их посредства, могут выполнять свою историческую миссию. Как же это именно сами? Ведь народ — это понятие собирательное. Его собирательная мысль и воля должны претвориться в мысль и волю одного, чтобы проявиться сильнейшим образом. Так именно и было с Петром. И художник-то в данном случае, — кто бы он ни был, — это понял в силу именно того, что он — художник, а не собиратель всяких мелких фактов и фактиков

о гении, изобличающих его, видите ли, то в том, то в этом! Из-за деревьев не видеть леса, а из-за букашек — слона, вот что такое все эти изобличения! Я знаю только то, что нам теперь в нашей жизни до зарезу необходим Петр, но вот его нет, и неоткуда нам его взять... Хотите, Михаил Петрович, я вам дам половину своей библиотеки за этот портрет?

Это последнее обращение к Погодину вышло несколько неожиданным для него, однако, бегло взглянув на лупоглазое круглое лицо Бычкова, Погодин ответил:

— А не горячитесь ли вы, Тимофей Николаевич? Не будет ли вам потом жаль ваших книг?.. Во всяком случае поговорим об этом как-нибудь потом, а?

— Таланты появляются во время войны, это верно, это я по себе вижу, — улыбаясь, заговорил Хомяков. — Я, например, изобрел дальнего боя ружье. Оно может бить дальше даже, чем английские штуцеры. И, кажется, выдали бы мне патент на изобретение и ввели бы мое ружье в действующей армии, а? Отчего же этого не делают?.. Я изобрел еще недавно и такой прибор, которым орудие можно опустить в траншею и можно поднять из траншеи в случае, если войска передвигаются или если оно подбито неприятелем, требует замены... Почему же не хватаются за мой прибор обеими руками, а напротив, не хотят и чертежей рассматривать?

— Вот видите, да как же это в самом деле? — растерянно, точно сам был виноват в этом, посмотрел на всех кругом, а дольше всех на Милютину Бычков и обратился к Погодину: — Михаил Петрович, вы друг Степана Петровича, а он едет в депутации к государю на днях. Вот был бы удобный случай сказать государю, — Шевырев это мог бы сказать, у него особый дар речи, — сказать бы, что крайняя нужда в реальных факультетах, откуда бы мы получать могли своих механиков и машинистов. А то ведь все иностранцы у нас механиками, а сами мы ничего не умеем. Иностранцы огромные деньги за это получают, а мы только глазами хлопаем да из-за их плеч смотрим.

— Конечно, в этом-то именно мы и отстали от Запада, — сказал Милютин, пока Погодин соображал еще только, может ли Шевырев доложить о реальных факультетах лучше, чем это сделал бы он сам,

если бы поехал в Петербург и добился аудиенции у царя. — Мы уступаем неприятелю не в храбрости, конечно, а только в технике. И я вполне согласен с вами, Тимофей Николаевич, — обратился он к Грановскому, — что лицо народа проявляется резко, как никогда, во время оборонительной войны; но иногда бывает так, как при осаде Карфагена, когда женщины отдавали свои косы на тетивы для луков. Жест, что и говорить, красивый, однако лучше бы было, если бы раньше заготовлены были в Карфагене тетивы из более подходящего материала. Технику сразу не создашь, для этого нужны годы и годы, — вот в чем наше несчастье. Может быть, не столько нам нужен пафос народный, сколько холодный, трезвый расчет. Ведь в Петербурге уверены, что с весною военные действия откроются против столицы. Вот когда потребуется напряжение всех сил, когда «угличане», — ведь вы из Углича выводите англичан, — обратился он, улыбаясь, к Хомякову, — когда эти новоявленные славяне с Британских островов начнут высаживать десант на побережье Финского залива.

— А разве хватит у них войск для десанта, Дмитрий Алексеич? — усомнился Хомяков, забыв обидеться на легкую шпильку насчет его теории о происхождении англичан. — Ведь Петербург — не Севастополь. Такими проектами только ребятишек пугать можно, что вы!

— Однако пугают ими и взрослых, — невозмутимо отозвался Милютин. Киреевский же, медлительно действуя, снял свои очки, протер их стеклами фуляром, утвердил их снова на своем коротком, слегка вздернутом носу и сказал, выждав паузу в разговоре:

— Иногда бывают умнее всех дураки, — это особенно принято доказывать в русских сказках. И что бы там ни случилось дальше с Россией, я позволю себе думать на манер бессмертного дурака русского — Скалозуба: «По моему суждению, пожар способствовать ей будет к украшенью!»

— Вы это серьезно так думаете? — оторвавшись от портрета Петра, обратился к нему Грановский.

— Вполне серьезно-с, — наклонил голову Киреевский.

— Вот на чем мы наконец-то сошлись с вами! Вот это и есть истинный патриотизм! В таком случае мне, другому подобному же дураку,

позвольте пожать вашу руку!

Никитенко в это время, придвинувшись к Каткову, который был не только редактором «Московских ведомостей», но еще и чиновником особых поручений при Норове, говорил ему полушепотом:

— У меня к вам большая просьба, Михаил Никифорович! Пока министр здесь, не ставьте, пожалуйста, его в известность, что царскую грамоту университету писал я. Он этого пока не знает, и, по моим личным соображениям, знать это ему не нужно. Ну, просто, понимаете ли, это может восстановить его против меня, что мне, понятно, совсем нежелательно. Обещаете?

— Помилуйте, отчего же не обещать! Да и зачем мне говорить об этом с министром? И когда говорить, если он послезавтра уезжает?

— Да, мы все уезжаем послезавтра, — и министр, и Ростовцев, и я, и многие из питерских депутатов. Так обещаетесь? Благодарствуйте! Пусть он будет убежден, что грамоту писал граф Блудов.

И Никитенко крепко пожал руку Каткову.

## VII

Это была совершенно патриархальная картина: отбытие Норова из Москвы в Петербург. Против вагона первого класса, окна которого были тщательно протерты, выстроились около попечителя, генерала Назимова, ректор и деканы и многие профессора, доценты, преподаватели, даже и студенты университета, и все глядели в то окно, в котором неподвижно и торжественно стоял Норов.

Правила отбытия поездов, как и прибытия их, одинаковы, едут ли в этих поездах министры или простые смертные, поэтому пришлось все-таки несколько минут министру безмолвно любоваться на своих подчиненных, подчиненным — на министра. Зато, чуть только засвистел обер-кондуктор, давая этим знать машинисту, что пора пускать поезд, и поезд дернулся всем своим составом, перед тем как окончательно сдвинуться с места, Норов начал торопливо благословлять всех его провожавших: и попечителя, и ректора, и деканов, и прочих.

Он крестил их совершенно по-филаретовски, наклоня при этом старую седую голову; глаза его, верхние веки которых нависали, как

две стороны равнобедренного треугольника, были похожи при этом на два «всевидящих ока», затуманенных благостными слезами. Провожавшие стояли без шапок, как и подобало принимающим благословение. Публика, бывшая в это время на перроне, смотрела на них с большим недоумением. Поезд двигался, а толпа профессоров все стояла без шапок и кланялась в ту сторону, в которую уходил многозначительный синий вагон. В толпе провожавших был и Катков, и на другой день в «Московских ведомостях» напечатана была подробная и обильно смоченная слезами статья о расставанье ученых мужей Москвы со своим любимым министром.

Но ни отъезд Норова, ни состоявшийся дня через два после него отъезд Назимова, Альфонского и Шевырева в Петербург, к царю, не прекратил московских празднеств по случаю сотого Татьянина дня. Даже и у Грановского собрались многие из его сослуживцев, учеников, почитателей, воспользовавшись тем предлогом, что он получил Анну на шею и что перед своим отъездом министр оказал ему особое благоволение, предложив ему составить учебник по всеобщей истории.

Те из съехавшихся в Москву питомцев университета, которые не могли попасть на официальные обеды с речами, собирались по трактирам, как тогда назывались рестораны, и праздновали там и говорили речи. Интеллигентная Русь впервые заговорила, это было знамение времени, случайно совпавшее с юбилеем московского рассадника просвещения.

На «отдании дня святыя мученицы Татианы» 6 февраля был последний обед в университете, и на этом обеде выступил Погодин.

— Милостивые государи! Мы провожаем ныне одно столетие и встречаем другое, — и в каких мудреных, в каких тяжких обстоятельствах! — начал он взволнованно. — Сердце замирает не только за науку, но и за будущее, за судьбу всех нас!.. Прекрасный, блистательный плод дало нам прошедшее, им мы имели счастье насладиться двенадцатого января: убеждение общее в пользе учения, в необходимости образования, в достоинстве науки, в святости просвещения... Такими минутами вознаграждаются с лихвою все душевные скорби, сопряженные с ученою жизнью. Поэт сказал ведь

правду: «Нам музы дорого таланты продают». Перечтите университетский «Биографический словарь». Двести пятьдесят человек трудились на нашем поле. Укажите мне из них, кто прошел свой путь по цветам? Кто не страдал и не плакал? Бедность — вот наша общая, наша милая мать; нужда — вот наша верная, любезная кормилица; препятствия, огорчения, оскорбления, удары — вот наши неотлучные, дорогие спутники, которые воспитывали наши души, трезвили ум, напрягали способности... Настоящее пасмурно, грозно! Небо обложилось тучами. Даже и на самом дальнем горизонте не светит никакого луча, — все звезды скрылись... Но все к лучшему — вот любимое замечание Истории. Восток наш посылается теперь, может быть, туда же, куда послан был Запад во время крестовых походов, и, может быть, для тех же самых целей, для каких посылались во время оно западные государства, — то есть для пробуждения своих сокровенных сил! Дух возвысится, способности разовьются, деятельность получит пищу и направление, когда благословенный мир снизойдет на нашу землю...

Погодин был в ударе: речь ему удалась.

Двадцать пять лет назад, в 1830 году, в первый раз в стенах Московского университета раздались рукоплескания, и виновником их был тот же Погодин, тогда молодой профессор, выступивший с горячей речью. Так же аплодировали ему и теперь люди разных направлений — правые, левые, средние... И когда после него Шевырев прочитал свои новые стихи, написанные на «отдание» праздника, кое-кто даже из заведомо правых шепотом на ухо соседу отметил их преувеличенно холопский характер.

Торжества кончились, и суровые будни русской жизни вступили в свои права.

### Глава третья. Ополчение

#### I

В январе новый союзник Англии Сардиния уже готовила в Крым пятнадцатитысячный корпус под начальством генерала Ла-Мармора.

Но, кроме того, усиленно шли подкрепления и к французам и к англичанам; наконец, после долгих приготовлений, двинул туда же свою армию и Омер-паша. К концу января число одних только французских войск в Крыму дошло до ста тысяч, а всех вообще интервентов скопилось около ста семидесяти тысяч, и выпуск манифеста о сборе ополчения был Николаем решен.

Манифест был обнародован 29 января. В нем объявлялось, что хотя на переговоры о мире с западными державами, союзницами Порты, русское правительство и дало согласие, однако приготовления их к продолжению войны не прекращаются, а напротив, «достигают обширнейшего развития», вследствие чего «мы обязаны и с своей стороны помышлять не медля об усилении данных нам от бога средств для обороны отечества, для того чтобы поставить твердый, могущественный оплот против всех враждебных на Россию покушений, против всех замыслов на ее безопасность и величие».

Так как в манифесте были слова: «Обращаемся с сим новым воззванием ко всем сословиям государства», то сословие, наиболее близкое к правительству, — дворянство, закипело рвением в обеих столицах, и в дворянских собраниях полились новые речи, но уже не те, что на юбилее в университете. Момент требовал не умозрительности только, а действия, и первым действием явился выбор начальника ополчения для защиты Петербурга и начальника других ополченских дружин для защиты первопрестольной Москвы.

В шумных собраниях вспоминали ополчение Дмитрия Донского и Куликово поле, вспоминали Смутное время и Минина и Пожарского, но больше всего памятный многим старикам двенадцатый год, и такой подвиг петербургских дружин, как участие их в сражении с войсками Наполеона под Полоцком, благодаря чему Витгенштейн одержал победу.

Но двенадцатый год неразрывно связывался с Кутузовым, старым, седым генералом, бывшим в опале у царя Александра и выдвинутым народом в спасители отечества. Не нужно было долго искать и теперь такого же старого, седого, опального генерала, чтобы воззвать к нему: «Вставай, спасай!» Он был у всех на глазах, он уже четверть века был в опале; он был сед и стар, очень стар; это был почти

восьмидесятилетний генерал-от-артиллерии Алексей Петрович Ермолов, живший на покое в Москве с 1827 года.

О нем было известно всем, что первый свой георгиевский крест он получил из рук самого Суворова, что в Бородинском бою он был правою рукою Кутузова, что баснописец Крылов, написавший басню о Кутузове, написал также и о Ермолове басню «Конь», ходившую в списках, но не пропущенную в печать. Повторялась также всеми и посвященная ему строка Пушкина: «Смирись, Кавказ, идет Ермолов!..» Вспоминался рассказ, как ахнула от страха при виде его императрица Александра Федоровна, когда ему пришлось представляться ей в 1831 году. Колоссального роста, исполинского сложения, с непокорной копною волос на голове, с тяжелыми, густыми, нависшими на острые серые глаза бровями, с грозной складкой на лбу между бровей, подходил к ней широким строевым шагом герой Отечественной войны и Кавказа, и она — слабая женщина — попятилась от него в испуге, так что он, заметив это, должен был остановиться и простоять неподвижно несколько минут, чтобы она хоть несколько привыкла к его виду, прежде чем начать с ним «милостиво беседовать». Вспоминался и ответ Ермолова царю Николаю, когда тот, отозвав его с Кавказа, предложил ему пост председателя генерал-аудиториата высшего военно-судебного учреждения: «Я считал и считаю высшим утешением привязанность к себе войск, но наказателем быть не способен». Также отказался он и участвовать в заседаниях Государственного совета, потому что видел всю никчемность этих заседаний при самовластии царя.

Вспоминались москвичам и петербуржцам бесчисленные остроты Ермолова, имевшие политический характер, вспоминалось и то главным образом, что Николай обвинял Ермолова в «либерализме», благодаря которому он «заразил всю Кавказскую армию духом вольномыслия». Никто даже не хотел и проверять, так ли было на самом деле: это нравилось, это ставили Ермолову в заслугу, таково было требование момента.

Если все военное могущество николаевской эпохи покоилось на трех китах: Паскевиче, Меншикове и Горчакове, то Ермолов был четвертый, совершенно незаконный, неофициальный кит и именно

потому-то казавшийся наиболее надежным в глазах дворянства. Забывали только о том, что восьмидесятилетний старец, давно проживающий в московском особняке на покое, едва ли уже был в состоянии теперь испугать своим видом даже и нервную слабую женщину — императрицу.

В черном нанковом широчайшем сюртуке, на который был нацеплен георгиевский крест — первый, суворовский, а другой, большой, белел на шее, в таких же нанковых и широчайших брюках без подтяжек, с кучей все еще густых белых волос на огромной голове, с морщинистым лбом и широким носом, похожий еще, правда, на льва, но уже на льва, дожившего до предельного возраста, Ермолов, вооружась очками, читал адресованное ему московским дворянским собранием письмо, писанное Погодиным:

«Генерал! Московское дворянство, призываемое священным гласом царя, ополчается на защиту православной веры, на помощь угнетенным братьям, на охранение пределов отечества. Оно просит вас принять главное начальство над его верными дружинами и смеет надеяться, что вы уважите его торжественное избрание. Сам бог сберегал вас, кажется, для этой тягостной години общего испытания. Идите же, генерал, с силами Москвы, в которой издревле отечество искало и всегда находило себе спасение, идите принять участие в подвигах действующих наших армий. Там ваши ученики и младшие товарищи, все наши храбрые солдаты. Пусть развернется перед ними наше старое, наше славное знамя 1812 года. Все русские воины будут рады увидеть в своих рядах вашу белую голову и услышать ваше славное имя, неразлучное в их памяти с именем Суворова и именем Кутузова. Неприятели вспомнят скоро Кульм, Лейпциг и Париж, а магометанские их союзники — Кавказ, где до сих пор еще не умолкнул в ущелиях отголосок ваших побед. Идите, приняв благословение в Успенском соборе перед гробами наших древних святителей. Братия наша, которая пойдет с вами, будет беречь вас, как драгоценное русское знамя 1812 года, а те, которые останутся дома, будут молиться, чтобы вы возвратились скорее с честью и славою, доказав ослепленной Европе, что святая Русь остается неизменно святою Русью и, несмотря ни на какие опасности и ни на чьи угрозы, не

позволит никогда никому прикасаться без наказания к ее заветным святыням: церкви, престолу и отечеству».

Раза два-три при чтении этого письма вытирал Ермолов побелевшие, как и волосы, глаза полосатым красным носовым платком, встряхивал головою и снова брал письмо в огромные и точно какую-то рыбьей чешуею покрытые, плохо сгибавшиеся руки. Когда же дочитал его, сказал: «Да-а!.. Хорошо. Только очень поздно вспомнили!» — покачал головой и начал перечитывать письмо снова. Опять прослезился в двух-трех чувствительных местах, наконец поднялся, с трудом разгибая поясницу, откашлялся и полез в карман своих необъятных, свободными волнами обтекавших его слонови ноги штанов за табакеркой, чтобы несколько успокоиться и привести в равновесие слишком расплескавшиеся мысли.

Но как раз в это время доставлено ему было другое письмо, более короткое, гораздо менее красноречивое, зато как будто начальственно предупреждающее: это писал ему граф Закревский, что до него дошли какие-то странные слухи, будто московское дворянство наметило выбрать его, генерала Ермолова, в начальники ополчения. Закревский не сомневался в том, что он откажется от этого хлопотливого и ответственного поста ввиду своего преклонного возраста и неразлучных с ним недомоганий, но хотел бы все-таки, чтобы он известил его об этом.

— Не ввиду преклонного возраста! — рявкнул вдруг побагровевший Ермолов, бросая на пол письмо. — Нет, конечно! А ввиду того, что там, в Петербурге, могут не утвердить, — вот почему! Бо-ишь-ся? А-а!.. Ну, раз ты этого так боишься, то я в таком случае непременно дам свое согласие дворянству! А там уж посмотрим, что из этого выйдет!

Пудовые руки его так крупно дрожали, когда он сел писать ответ Закревскому, что он долго не мог вывести ни одного слова и только портил лист за листом бумагу.

Наконец, успокоившись, кое-как написал:

«Милостивый государь граф Арсений Андреевич!

Благодарю вас покорнейше за сообщение мнения вашего на предмет предстоящих выборов и со всею откровенностью отвечаю вам. Не знаю, можно ли избирать меня по носимому мною званию; но если я

буду удостоен избрания московского дворянства, я не должен уклоняться от службы наравне с каждым дворянином, не имея пред лицом закона никаких особенных прав и не давая места суждению, еще менее негодованию, если бы даже не утвержден был в звании начальника губернского ополчения, в какое я, вероятно, могу быть избираем. Легче всего могут найтись люди способнейшие и не в праздностиждавшиеся престарелых моих лет. Двадцать четыре года, вышедши из службы по приказанию, я не был употреблен на службу деятельную, и в теперешнем случае нимало не удивлюсь и не приму к сердцу, если, как и прежде, не признан буду за годного. Впрочем, благодаря бога я доволен совершенно моим положением, ничего не желаю и, конечно, искать не стану. Вот моя исповедь почтеннейшему графу, и никому другому я не скажу иначе.

Душевно преданный Ермолов ».

Письмо это он не скрыл от своих близких. В один и тот же день пришло оно и к Закревскому и в двух-трех списках в Дворянское собрание. Его читали громко в толпе дворян, собравшихся на выборы. Тут же снимались с него копии, и оно пошло гулять по всей Москве, добралось даже до торговых рядов. Это сдержанное рычание старого льва принималось за вызов правительству, открытый упрек ему за опалу, тянувшуюся четверть века.

Говорили, не опасаясь даже доносов:

— Небось, если бы Алексей Петрович провел все это время на службе, а не сидел бы поневоле без дела в Москве, он не допустил бы, чтобы армия наша уступала в чем-нибудь французско-английской. Он давно бы потребовал штуцеры взамен ружей и много кое-чего еще! Неудобен был немцам нашим, — вот почему отстранили!.. Не зря просился Алексей Петрович, чтобы произвели его в немцы!

В середине февраля проведены были выборы начальника московского ополчения. Из двухсот восьмидесяти шаров только шесть было черных, что было приписано проискам Закревского. Четверть часа кричали дворяне «ура» в честь Ермолова. Восторг Москвы был неслыханный, как будто над интервентами одержана была решительная победа, а не над одним только генерал-губернатором Закревским.

Но в тот же день пришла телеграмма из Петербурга, где также закончены были выборы начальника петербургского ополчения. Оказалось, что Ермолов выбран был и там тоже, притом, в укор Москве, совершенно единогласно. Пришла и другая телеграмма, что выборы утверждены царем.

Теперь настал черед выбирать Ермолову между Петербургом и Москвой. Москва волновалась страшно, — вдруг он предпочтет столицу! Автор послания к нему от дворян — Погодин — был послан уговорить его остаться с Москвою, где он нашел себе такой долговременный приют. Ужасно спешили с этим, потому что прошел слух, будто едет уже в Москву депутация от петербургских дворян с тем, чтобы обольстить его сладкими речами и увезти в столицу.

Погодин отправился, как на бой, с пылающим сердцем. Возвращения его ждали в собрании встревоженно и не расходясь. Наконец, он явился сияющий, возглашая еще от дверей:

— Остается с нами! Петербургу отказ!.. Помолодел старик на двадцать лет!

Снова восторженно кричали «ура» и, за отсутствием Ермолова, принялись качать Погодина.

## II

Елизавета Михайловна, отослав письмо брату в Москву, ждала от него ответа в точно рассчитанный ею срок, и не письмом даже — эстафетой. Однако дни шли, эстафета не приходила.

Правда, переписку свою с братом за последние годы она не могла бы назвать оживленной: очень мало осталось у них общих интересов; но все-таки было и непонятно и даже досадно, что нет ответа, и она не знала, писать ли снова, или выжидать, тем более что выжидать было можно: 10 января Василий Матвеевич неожиданно быстро собрался и уехал в Курск по своему сутяжному делу о лугах на речке Лопани.

Уезжая, он предупредил, что задержится, может быть даже больше, чем на неделю, и она могла чувствовать себя свободно, не опасаясь ни за себя, ни за мужа, как опасалась чего-то все последние дни, потому что Хлапонин-дядя становился все более и более навязчиво предупредителен к ней, напоминая ей этим генерала Кирьякова.

Конечно, уезжая, он просил ее понаблюдать за его «подлецами-верноподданными», за общим распорядком в доме и усадьбе, а в особицу за пивочником, и она, обрадованная его отъездом, однообразно повторяла:

— Хорошо, хорошо... Если только я что-нибудь могу тут... Хорошо, хорошо... Я попытаюсь...

Он же отзывался ей на это:

— Вы можете! Вы все можете, дражайшая!.. Вы бесценная женщина! Ах, если бы вы только захотели, то... вы все могли бы сделать!

Когда он сидел уже в санях, а она из вежливости стояла на крыльце, накинув шубку, он забеспокоился, что она простудится, заболеет, но в то же время глядел на нее преданно и неотрывно, пока кучер Фрол не ударил по лошадям вожжами и те не рванули дружно и в несколько мгновений не вынесли его со двора на дорогу.

В пивочник после отъезда деловитого владельца Хлапонинки Елизавета Михайловна не заходила: просто ей там казалось почему-то страшно, будто там кого-то утопили втихомолку. К коровам она, как истая горожанка, относилась не совсем доверчиво и потому на скотном дворе тоже не появлялась. Конюшня занимала ее больше, как занимала она и ее мужа, но там не было таких красивых лошадей, как ее севастопольский Абрек. К дворне она присмотрелась уже за несколько дней еще при Василии Матвеевиче, присматривать же за нею не думала.

Но Арсентий, который вникал во все и очень быстро вошел во вкусы деревенской жизни, сказал ей однажды, слегка улыбаясь в усы:

— А на деревне тут, барыня, какой-то-сь дружок старинный барина нашего нашелся.

— Дмитрия Дмитриевича дружок? — удивилась Елизавета Михайловна.

— Так точно, их... Говорит, когда они еще в кадетах состояли, он с ними провожал время, если домой их летом брали: казачок при них был.

— А-а, а я-то думала, какой такой дружок!

— Теперь-то он уж поболее меня ростом будет, хотя, может, я и постарше его чуть... Ну, одним словом, с барином нашим ровесники. Я сказал, что барин наш теперь называется контуженный, все равно, что

раненный крепко, — вот тужил! Аж за голову руками взялся. «Эх, говорит, повидать бы мне их, посмотреть хотя минутку одну! Вот если бы можно было! А то ну как уедет от нас, и не увидишь!»

— Отчего же нельзя? — быстро решила Елизавета Михайловна. — Вот я сейчас спрошу барина.

Это было в первый же день по отъезде Василия Матвеевича. Когда Дмитрий Дмитриевич услышал о своем друге на деревне, он с минуту думал, припоминая, наконец спросил:

— Это не Терешка ли?

— Терешка, Терешка, ваше благородие! — обрадованно подтвердил Арсентий. — А фамилию он имеет Чернобровкин.

— Фамилию я не знал, — покачал головой Хлапонин. — А Терешку... Терешку я помню... Хорошо помню... Хорошо помню... Терешка, — как же... Он где?

— Да он, признаться, с утра тут на дворе ждет, как я его обнадежил, ваше благородие.

— Тут?... Давай!.. Давай сюда его, давай! — очень оживился Хлапонин.

— Терешка! Как же!

В столовую, где в это время пили чай поздно вставшие Хлапонины, введенный Арсентием, вошел, в легкой новой казинетовой серой поддевке, круглобородый, русский, волосы в кружок, румянолицый не то с морозу, не то от смущения, высокий статный малый, и Хлапонин поднялся с места ему навстречу, радостно улыбаясь и говоря торопливо:

— Вот ты какой стал, а?... Тереша... Бородач! Терентий, а?..

Он вытер усы салфеткой, обнял Терентия за шею, и они поцеловались три раза накрест, как на пасху.

Видя это, Елизавета Михайловна подала Терентию руку и сказала:

— Садись чай пить с нами.

— Да, да, садись, брат, садись рядом! — засуетился Дмитрий Дмитриевич, и даже при этом как-то слегка, но заметно задвигал левою рукою, к удивлению следившей за ним жены, между тем как Терентий, тоже поглядевший на эту руку, сказал простодушно-горестно:

— Вот война-то что делает! — и покрутил головой.

Чай он пил по-деревенски, прихлебывая с блюдечка, которое держал на распяленных пальцах, а Дмитрий Дмитриевич глядел на него, трудно, но с охотой припоминая отроческие годы. Как сквозь заросли густой бороды и разлтых, белесых, ни разу в жизни, видно, не бритых усов Терентия с большими усилиями нужно было пробираться воображению к гладкому, продувному, всегда озаренному какою-нибудь смелой ребячьей выдумкой лицу казачка Терешки, так еще больше усилий требовалось памяти пробиться сквозь какую-то непостижимую мглу, державшую в плену, в темнице впечатления тех лет.

— А помните, как мы с вами на Донец с ружьем летом ходили? — спросил после третьего стакана чаю Терентий, улыбаясь и почтительно, как полагалось при разговоре с барином, и в то же время несколько снисходительно, как это невольно прорывается у вполне здоровых людей, говорящих с больными.

— На Донец?.. С ружьем? — повторил Дмитрий Дмитриевич, вглядываясь в его бороду.

— Еще тогда чужую лодку у нас мальчишки угнали, а мы за ними по берегу гнались и в топь попали, — старался напомнить Терентий.

Что-то было такое, но смутно, непостижимо, как-то туманно, точно виденное во сне или кто рассказывал во время лагерной попойки, и Дмитрий Дмитриевич оглядывался на жену, привычно ища у нее помощи.

— Как же, на Донец, на охоту пошли мы, на чибисов, а главным делом, конечно, на уток, — продолжал между тем напоминать Терентий, — и так что убить почесть что ничего не убили, только утенка одного да чибиса... ну, да еще вы стрижа влет сшибли...

— Стрижа? Стрижа влет — помню! — оживился Дмитрий Дмитриевич.

— Разве это тогда стрижа я сбил?

— А как же! Это когда уж оттуда шли... А там мы помучились с чужой лодкой: и бросить ее вам не хотелось, потому что, известно, чужая, хотели ее доставить в целости, и топь своим чередом: в такую топь залезли мы тогда, что конца ей не видно, а что ни шагнем, все по колени, а то и выше. Я говорю вам: «Назад надо!» А вы мне: «Вперед,

а то лодку угонят!» Известно, человек вы и тогда военный были, а я за вами следом ныряю в топь, а у самого думка: «Засосет обоих, и квит!»

— Как же вы тогда выбрались? — спросила Елизавета Михайловна.

— Да так что не меньше часу мы все топли, ну кое-как вылезли на сухое... Тут уж мы могли бежать шибче тех мальчишек, что нашу лодку угнали, забежали им наперед; как прицелились в них: «Стрелять будем, гони сюда лодку!» Ну, те испугались, что и в сам-деле их постреляем, скорей к тому берегу пристали — да в лес; а я разделся тогда, переплыл, и стала лодка опять наша, так что могли мы на бережку и вымыться от грязи, и обсушиться, и лодку хозяину предоставить.

Терентий говорил это, обращаясь уже к Елизавете Михайловне, на которую как-то по-детски виновато взглядывал и Дмитрий Дмитриевич.

— А Донец далеко отсюда? — спросила она.

— Верст двадцать будет, смотря как идтить... Ну, мы вышли чем свет и, конечно, к такому времю угодили, когда вся птица от жары в камышах двошит, и только одно бучило слышно, как оно в камышах: бу-бу, бу-бу!

— Бучило? — вдруг очень как-то беспокойно замигал глазами Дмитрий Дмитриевич.

— Ну да, а то еще зовут — бык водяной, а что это такое, никто в глаза не видал.

— Помню, — сказал, слегка усмехнувшись, Дмитрий Дмитриевич. — Все теперь помню... Это там, где-то... девки нас в хоровод звали, а?

— Истинно! Звали в хоровод! — тряхнул волосами Терентий. — Это когда мы обратно шли вечером через Дворики... А мы еле ноги волочили, идем... Спасибо, какая-сь подвода нас нагнала, мы на нее, в сено, и сразу заснули сном праведным!

Дмитрий Дмитриевич мгновенно вспомнил запах того сена, лет семнадцать — восемнадцать назад, на скрипучем возу, на который он едва вскарабкался нежелающими сгнуться от крайней усталости ногами, и ощутил такое же почти блаженство от одного этого воспоминания теперь, как тогда, когда засыпал, уткнувшись головой в щекочущие сухие былинки.

Но эта прогулка на Донец была только малая часть нахлынувших вместе с бородатым Терентием воспоминаний, и все они были связаны с долгими, до синевы тела и судорог в ногах и руках, купаньями в Лопани, с удочками и ныретами, с гольцами, кусаками и вьюнами в речной тине с таинственной вдоль этой речки рощею, теперь уже вырубленной на дрова, и птичьими гнездами в ней, причем Терешка знал всех птиц и все их повадки, так что перед огромной книгой природы он стоял около кадета Мити Хлапонины как учитель с указкой в руке.

— А помнишь... Я тебя французским словам учил? — спросил Дмитрий Дмитриевич.

— Истинно! Это я хорошо помню, что учили, только слова уж те позабыл за мужицкими делами. Ведь я и читать-писать мог, и то уж без последствий осталось, и из памяти вон вышло... По-церковному еще малость читаю, а писать уж совсем отвык — забыл.

— Как на деревню попал? — спросил Дмитрий Дмитриевич с видимым усилием мысли, оцененным Елизаветой Михайловной.

— Это уж барину благодаря, — понизил голос Терентий. — Барин у нас тогда, как здесь поселились, многих из дворни разогнали кого куда: «Мне, говорят, не надо!» Ну, и меня в том числе тоже. А потом я, конечно, женился, детишки пошли...

— Много? — спросила Елизавета Михайловна.

— Детишек-то? Четверо уж имею, — пятый в ожидании.

И, как бы устыдясь такой своей плодовитости перед бездетными господами, добавил, обращаясь к Дмитрию Дмитриевичу:

— Ох, и вспоминают же часто у нас, кто постарше годами, папашу вашего! Вот, говорят, барин был, не нынешнему чета! Потому что этот, он, хотя бы сказать, приходится вам и дядя родной, ну, все-таки змей!.. Извиняйте, если я не так сказал...

Терентий замолчал вдруг сконфуженно, но Хлапонин одобрительно кивнул головой, и он продолжал вполголоса:

— Та-ак мужиков всех скрутил, что дальше уж некуда! А чуть кто что скажет, не вытерпит, он того в разор разорит, и пожалиться некому: полиция вся его! Так что теперь мужики наши в один голос между собой решают к вам проситься, когда у вас дележка имения выйдет.

Хлапонин посмотрел на жену непонимающими глазами.

— Какая дележка имения? — удивилась Елизавета Михайловна.

— Полюбовная, должно, мы так промеж собой думаем: судом разве можно с него что взыскать?

— Так что на деревне думают, что мы за этим сюда и приехали?

— Известно, барыня! — даже чуть улыбнулся Терентий, как бы добавляя этим: «Ведь не такие уж простачи наши деревенские!»

— Ты слышишь, Митя? Будто бы мы приехали затем, чтобы твою долю имения вернуть!

Хлапонин понял, наконец. Он высоко поднял брови и посмотрел удивленно на Терентия, на жену и вновь на Терентия.

— Откуда? А? Откуда это они?

— Нет, нет, скажи им всем, пожалуйста, что мы ничего такого не думаем делать судом и уж давно забыли о своей доле тут, а Василий Матвеевич ведь не такой, чтобы об этом вспомнить! — поспешно сказала Елизавета Михайловна.

— Это уж известно, что не такой, — пробормотал Терентий, однако смотрел недоверчиво.

Когда он ушел, Елизавета Михайловна даже и Арсентия спрашивала, как мог пойти по деревне слух о том, будто они приехали в Хлапонинку устраивать какую-то любовную сделку насчет имения. Арсентий отвечал по-солдатски непроницаемо: «Не могу знать». Однако отводил при этом глаза в сторону, точно давая этим понять, что игра ведется тонкая, но и он не настолько уж лыком шит, чтобы ее испортить.

### III

Хлапонины думали, что деревенские слухи после этого сами собой улягутся так же вдали от них, как вдали и возникли; но они плохо знали деревню, которая только и жила слухами о лучшем будущем.

Деревня не читала газет, но всякий странник, заходивший в нее издалека, был для нее живой газетой. И странники, среди которых бывали многие, прежде тесно связанные с землей, знали это нутром, и на таинственно задаваемые вопросы: «Как насчет воли, а?.. Есть слушок?» — отвечали с готовностью: «Как не быть, родимые! Есть...»

Дальше они могли уж плести какое угодно кружево из действительно ходивших по деревням слухов и из своих собственных досужих домыслов и измышлений: раз только они клонили к скорому объявлению воли, их слушали жадно. Гробовая тишина деревни казалась такою только снаружи.

Приезд в усадьбу помещика Хлапони́на его племянника-офицера, о котором всем известно было, что он до нитки обобран дядей-опекуном, не могло не возбудить толков, и Терентий Чернобровкин явился к приезжим как бы ходоком от целой деревни.

Вернувшись домой, он старался подробно и в точности передать все, о чем говорили, но сам он не то чтобы не хотел — просто не мог поверить ни своему бывшему «дружку», ни его жене, будто приезд их в Хлапонинку не имел никаких других, более вещественных целей, кроме поправки здоровья.

Когда ему говорили соседи:

— Поэтому выходит так: помирились они промежду собой, дядечка с племянником...

Терентий возражал ожесточенно:

— Ты чтоб меня ограбил вчистую, а я с тобой чтоб мириться стал? Обдумай умом, что языком звонишь! Да я тебе голову сначала от шеи оторвать должен, а потом уж с тобою мириться, когда ты без головы валяться будешь!

И — человек большой силы — он сцеплял свои толстые пальцы так, как будто кому-то отрывал невидимо голову и потом, скрипя зубами, швырял ее наземь.

Как бывший дворовый, он считал себя понимающим господ лучше, чем все его однодеревенцы. Он не успокоился, тем более что беспокойное для всех наступило время: война. Он снова через день пришел в усадьбу уже не один, а с женой и старшим сынишкой лет семи. Он видел «дружка» своего семейным и считал, что нужно показать и ему хоть часть своего семейства.

— А трое младших в хате с бабкой остались, — говорил он конфузливо.

Голубоглазому мальчику Фанаске насыпала в карманы Елизавета

Михайловна конфет и орехов, его матери Лукерье подарила свой шелковый платок, но сам Терентий и в этот раз не мог добиться, зачем, по-настоящему, приехал сюда Дмитрий Дмитриевич.

Он, правда, улучил момент, чтобы спросить шепотком, не хочет ли начальство, по случаю войны с французом, объявить волю крестьянам, чтобы лучше защищали веру-царя-отечество; тогда для него было бы понятно, что добиваться возврата своей части имения будет, пожалуй, и действительно ни к чему, незачем...

Эта мысль засела в нем гвоздем, и он, когда высказал ее, хотя и с оглядкой на двери и шепотком, впился в обоих Хлапониных неотрывными глазами. Но оба они, — сначала она, потом, когда понял, он, — так простосердечно удивились, откуда мог взяться подобный вопрос, что Терентий померк и пробормотал, опавши:

— Ну, тогда извиняйте, если что не так...

И от дома в деревню шел, — они это видели из окна, — как будто сделался вдруг ниже ростом и слабее ногами.

Василий Матвеевич приехал, как и говорил, пробыв в Курске всего около недели.

Может быть, дело его в суде шло не так гладко, как он бы того хотел, или пришлось не по его расчету много заплатить чиновникам, только он, приехав, не то чтобы устал с дороги, а был явно не в духе. Елизавета Михайловна слышала, как он кричал на бурмистра, на конторщика, на Степаниду. Что-то не так нашел с приезда и в своем пивочнике и грозился выдрать Тимофея «с киллой».

С Елизаветой Михайловной и своим племянником старался быть по-прежнему очень любезным, но именно старался, — это заметно было. За ужином в день приезда говорил о том, что слышал в Курске о Севастополе, о поставках на армию, о госпиталях, которые появились уже в глубоком тылу, о том, что на Россию с весны готовится напасть вся Европа, а это уж вопрос очень серьезный, о том, что Крым отстоять едва ли удастся, и, наконец, об особых «Положениях касательно ополченских дружин», уже разосланных для сведения и руководства во все полицейские части в ожидании манифеста.

Накануне Елизавета Михайловна получила, наконец, письмо от брата. Он писал об юбилейных торжествах, подготовка к которым помешала

ему ответить ей своевременно, и предлагал в случае необходимости приехать прямо к нему, в его холостые комнаты, откуда она могла бы сама начать поиски более удобной для больного мужа квартиры.

Правда, она приходила тоже к этому решению, но все-таки лучше было заручиться согласием брата: это ставило ее на более твердую почву.

— Значит, теперь, за такое короткое время, как мы выехали из Симферополя, всему Крыму уже грозит опасность, Василий Матвеевич? — спросила она затаенно недоверчиво.

— Да, к сожалению, к весьма большому прискорбию моему, дражайшая Елизавета Михайловна, я это узнал из самых верных источников, — покивал головой Хлапонин-дядя.

— Так что ваша мысль о покупке там имения...

— Пошла прахом! Лопнула-с, окончательно лопнула! Это был бы с моей стороны самый безрассудный шаг, если бы я сделал его так, наобум, заглазно, наспех!

— Но ведь вы бы его, конечно, и не сделали наобум и наспех!

— Как знать? Как знать, сделал бы или нет? Я иногда бываю человек горячий... Вдруг что-нибудь возьму да и сделаю, а потом, потом уж даже и ума не приложу, как мне выбраться из скверного положения-с! Вот я какой иногда бываю! Поступаю иногда до такой степени опрометчиво, точно я мальчишка какой... Вдруг что-нибудь втемяшится в голову — я и пошел чертить. И только потом уж глаза луплю во все стороны: что же это я выкинул такое, какого такого козла? А остановить меня некому-с — ведь я один!

Почему-то, говоря это, Хлапонин-дядя смотрел на своего племянника и смотрел не то чтобы доброжелательно, благодушно, совсем нет, — сосредоточенно, с искорками в глазах, почти враждебно, так что даже и Дмитрий Дмитриевич заметил это, и ему стало, видимо, несколько не по себе, и он вопросительно поглядел на жену.

Елизавете Михайловне тоже показались слова Хлапонина-дяди каким-то намеком на то, что вот он пригласил их к себе эстафетой, а теперь в этом кается, называет это «опрометчивым» поступком, и она хотела уж было сказать, что увозит мужа в Москву, но все-таки решила подождать пока, поберечь это на крайний случай.

Она спросила с виду вполне спокойно:

— Это вы не о пиявочнике ли своем говорите, что опрометчиво поступили? Действительно, эта ваша затея...

— Что «эта моя затея»? — так и вскинулся Василий Матвеевич. — Эта затея, если хотите знать, все равно, что четыре туза в прикупе, вот что такое эта затея-с!.. Вот Митя — артиллерист и пока только батареей командовал, но все-таки умные люди говорят, что это тоже весьма неплохо-с, батарея! А если бы он командир артиллерийской бригады был? На-пле-вать бы ему тогда на любое имение, с которым только одна возня, а часто от него и убытки! Го-раз-до больше бы имел он тогда доходу со своих бессловесных чугунных или там медных пушек, чем я, например, со всей своей земли! А что же касается пиявок, то я вам объяснял это как-то, что они меня могут со временем, и, может, очень близко уж это время, тем же командиром бригады артиллерийской сделать по доходу, — вот что такое-с пиявки-с! Только свой глаз — алмаз, чужой — стекло. И разным подлецам этого дела и на один день оставлять нельзя, а не то что на неделю... Вот я уехал, а вы бы спросили подлеца с шишкой, топил ли он как следует, или нет? И оказалось бы, что нет, не топил, подлец! И вот поймал я сегодня сачком вместе с живыми штук несколько уже дохленьких. А ведь кое-кому приказывал я строго-настрога смотреть за ними, когда уезжал. Куда же они смотрели? В свой карман?.. А мне нанесли большой убыток, я лишен от пиявок этих приплоду, да ведь их, дохленьких-то, может, и не несколько штук, а десятков! Вот что получилось... Ну, этот мерзавец с шишкой пойдет у меня в сдаточные, в ополчение, когда так!.. Двоих от меня потребуют, я справлялся. В первую голову пойдет он!

Елизавета Михайловна почувствовала себя как бы виноватой в том, что ни разу за эту неделю не заходила в пиявочник, но в то же время ей показалось, что Тимофей с шишкой не годится в солдаты.

— Тимофея, с такою вот шишкой здесь, помнишь, Митя? Едва ли возьмут его в ополченцы, а? — обратилась она к мужу.

— Едва ли, да, — отвечал Дмитрий Дмитриевич, добросовестно подумав.

Но Василий Матвеевич махнул рукою энергично.

— Потому не возьмут, что шишка? Пустяки какие! Пускай вырежут эту шишку, если будет она им строй портить. Как будто если он с шишкой, то уж и не человек! А если он человек, то он тоже денег стоит. Ведь явно свое кровное отрывается, а кто возместит? Шишка же — это для работы ничего не значит.

— Вы сказали, двух от вас потребуют... А кого же другого вы наметили? — спросила Елизавета Михайловна, ожидая, что и другой ополченец из Хлапонинки будет тоже с каким-нибудь изъясном, и уже заранее придумывая, с каким именно.

Но Василий Матвеевич ответил неожиданно еще более взвинченно, чем когда говорил о Тимофее:

— Есть у меня на деревне мужичонка вредный: его хоть в острог отправляй, хоть в сдаточные. Вот он теперь, кстати, и пойдет вторым номером после Тимофея... Это — Терешка Чернобровкин, подлец! Грубиян, лодырь, а главное, смутьян — смутьян, мерзавец! Он и пойдет вторым.

Чета Хлапоновых переглянулась, а владелец Хлапонинки, багровый от нескольких рюмок выпитой за ужином водки, зло постучал по столу кулаком.

#### Глава четвертая. Лицо императора

##### I

В уставе, утвержденном Николаем в 1846 году, было сказано: «Главкомандующий в военное время представляет лицо императора и облачается властью его величества...»

Что касалось «лица императора», то в конце января — в начале февраля старого стиля Меншиков почти буквально выполнял этот (16-й) параграф устава. В это время Николай в Зимнем дворце в своем кабинете лежал на походной кровати, дрожа от сильного озноба, подоткнув под себя со всех сторон теплую шинель, которой укрылся до подбородка; Меншиков же тоже, почти не поднимаясь, лежал в своей «главной квартире» — матросской хате на Сухой балке, вытянувшись во всю длину старого кожаного дивана, без кровинки на

дряблых, впалых щеках, с жидкой седой щетиной на подбородке, с закрытыми глазами, костлявый, бессильный на взгляд каждого, входившего к нему по неотложному делу, похожий на мертвеца.

Великие князья — Михаил и Николай — вернулись из Петербурга в Севастополь в половине января, но не привезли ему ни отставки, ни отпуска. Напротив, царь через своих сыновей уверял его в своей «неизменной благосклонности», как будто достаточно было в сотый раз получить это уверение в монаршей благосклонности, чтобы сразу вылечиться от всех болезней.

Диктуя кому-либо из своих адъютантов, или генерал-квартирмейстеру Герсеванову, или ведавшему провиантской частью армии полковнику Вуншу тот или другой приказ, Меншиков говорил так тихо, что приходилось скорее угадывать по движению его синих губ, что именно он хочет сказать, чем действительно иметь возможность расслышать его слова... Начальник же его штаба, генерал Семякин, был глух вследствие контузии и для подобных собеседований совсем уже теперь не годился.

Однако и Вунш, и Герсеванов, и другие часто испуганно застывали с карандашами в руках над бумагой, так как Меншиков то и дело впадал в глубокий обморок, длившийся иногда до получаса, и беспомощно оглядывались по сторонам, пытаясь решить, не умер ли уже главнокомандующий Крымской армией.

Но вот судорожно передергивался рот Меншикова, открывались тусклые белесые глаза, и слабый голос спрашивал:

— На чем это... на чем мы остановились?

И шелестящий шепот приказа по армии продолжался снова до нового обморока, похожего на смерть.

Иногда же, — и это было, пожалуй, так же способно навести испуг на слушателей, как и обмороки, — Меншиков начинал вдруг говорить совсем не на тему приказа: он отдавался вдруг побочным, посторонним мыслям или воспоминаниям, которые казались другим не только не идущими к делу, но даже подозрительными с точки зрения умственного здоровья главнокомандующего.

Как будто и самая работа мысли его, всегда до этого бодрой и деятельной и очень часто склонной даже к иронии и сарказму, вдруг

прерывалась какими-то перебоями мечтательности, почти бреда; как будто не только физически, но и психически уходил уже он или старался уйти от всего, что было связано с введущейся им же войной, — с осажденным Севастополем, с батареями интервентов, с сухарями и мясом для армии, с ложементами впереди бастионов, которые надо было то отбивать у врага, то отстаивать...

«Наполеонова болезнь», как он называл ее когда-то Пирогову, теперь овладела уже им всецело, и лекарю его Таубе часто приходилось прибегать к помощи катеров Дворжака. Но полную расслабленность Меншикова нельзя было все-таки объяснить одною только этой болезнью. Тут как будто сразу открылись все его старые раны и поднялись из глубин памяти все обиды и неудачи жизни.

Он слушал, например, серьезный и деловой доклад генерал-интенданта Затлера, касавшийся продовольствия свыше чем стотысячной армии, отрезанной от плодородных районов России пятисотверстной полосой опустошенных степей и зимнего бездорожья, и вдруг спрашивал его, перебивая:

— Вы графа Ожаровского в Варшаве не знавали?.. Жив ли он еще?

Затлер был прислан в Крым Горчаковым, подобно тому как им же еще до высадки интервентов был послан Тотлебен. Но Меншиков еще до чтения им доклада слышал от Затлера, что он выехал в Севастополь из Варшавы, и выходило, значит, что главнокомандующий только делал вид, что внимательно слушал доклад, а думал совсем о другом.

Не понимая, какое отношение имеет граф Ожаровский к его рассуждениям о том, где можно достать и как удобнее и дешевле доставить фураж, львиная доля которого неизбежно будет съедена в пути лошадьми и волами, Затлер ответил на всякий случай:

— Кажется, я встретил Ожаровского незадолго перед выездом из Варшавы...

— Значит, он жив еще? — несколько оживился Меншиков. — Это имя напоминает мне одно обстоятельство... из кампании тринадцатого года... Я состоял тогда при князе Волконском. После сражения под Кульмом послал меня государь... осмотреть, какие позиции наши гвардейские полки заняли... и чтобы ему доложить. Я тут же поехал... осмотрел... докладываю, что видел... И вдруг государь мне резко:

«Неправда! Не там моя гвардия и совсем не так расположена! Все неправда!..» — «Ваше величество, — говорю я, — только что был я там! Я объехал все полки... и я докладываю вам именно то, что я видел!» — «Неправда! Граф Ожаровский доложил мне совершенно иначе! Вот как было!..» Спасибо, что все-таки пришел к сомнению... приказал призвать Ожаровского. Я его уличил с первых же его слов! Он сознался, что даже и не был там... в гвардейских полках... а со слов других свой доклад царю сделал... Вот как тогда... исполнялись приказания... его величества!

И закрыл надолго глаза, изнеможенный таким длинным отступлением в сторону графа Ожаровского. оставив генерала Затлера в нерешимости, продолжать ли ему свой доклад.

Когда же, отдохнув, Меншиков открыл глаза, он не спросил даже, как обычно: «На чем мы остановились?» Он сказал вдруг с некоторой энергией в голосе:

— А в тысяча восемьсот седьмом году... на походе... и в богатом краю... армия наша дошла до таких лишений... что солдаты кожу своих сапогов съели! Да-с! Вот-с! Так армия свои сапоги и съела-с!.. И не сыта этим была, и босая осталась...

Затлер думал, что после этого идущего уже к делу замечания он может продолжать доклад, но главнокомандующий впал снова в забытие.

## II

Между тем вместе с великими князьями в половине января из Петербурга в Севастополь от императора его «лицу» пришло приказание в форме совета без промедления атаковать и взять Евпаторию, куда направлялся большой десант турецких войск, предводимых самим Омер-пашою.

Для того же, чтобы следить за неуклонным выполнением этого «монаршего предначертания», был особо прислан флигель-адъютант, полковник Волков.

Так, к концу января свалилась на маститого вождя Крымской армии, страдающего мучительным циститом, еще и новая забота — подготовка штурма Евпатории, хотя сам он и думал, что это совершенно ненужная затея.

— Разве мы в состоянии будем... удержаться в Евпатории... если даже и возьмем ее? — спрашивал он у Волкова, стараясь изо всех сил подольше не опускать на глаза тяжелые верхние веки. — Ведь неприятельская эскадра... выбьет оттуда наши войска... после двух-трех часов обстрела!

Полковник Волков, о котором царь Николай писал Меншикову, как о «вполне надежном» офицере, человек еще довольно молодой, но уже весьма расплывшихся форм, державшийся почтительно до того, что ни одним взглядом своим не выдавал недоумения при виде главнокомандующего, полумертво распростертого на стареньком вытертом диване, отвечал тоном непреклонной судьбы:

— Такова воля его величества, ваша светлость!

Что армия союзников, высадившись в Евпатории, будет стремиться отрезать его армию от сообщения с остальной Россией, закупорить ее в Крыму и взять измором, это, конечно, знал и сам Меншиков, но он не думал, что Омер-паша отважится выйти из Евпатории в степь, где он неминуемо наткнулся бы на большие силы русской кавалерии, которым на помощь всегда могли бы подоспеть непрерывно идущие в Крым пехотные части, кроме тех резервных батальонов, которые стояли по брошенным татарским деревням и вблизи Евпатории и у Перекопа.

Все истощенное, хотя, однако, способное еще мыслить, существо Меншикова было против этого навязываемого оттуда, из Петербурга, броска в сторону от Севастополя. Он знал и по Анапе и по Варне, что турки умеют хорошо защищаться в сильных укреплениях, а что Евпатория была основательно укреплена, в этом он не сомневался.

«Лицо императора», когда-то искусное в дипломатических ходах, теперь, лежа с закрытыми глазами, всячески искало способ как-нибудь выйти из большого затруднения: не выполнив воли императора, не слишком раздражить его этим.

Он понимал, что самое лучшее для него было бы теперь же выйти в отставку, чтобы ответственность за штурм Евпатории, грозившей крупной неудачей, нес его преемник. Однако отставки он не получал, хотя положение его было известно великим князьям, занявшим снова инженерный домик и домик таможенного ведомства и державшим

открытый стол для своей многочисленной свиты и для генералов, приехавших часто к ним из Севастополя и его окрестностей.

Он знал, что там, среди молодежи, обычно безжалостной к немощной старости, не могут не смеяться над ним, не могут не рассказывать на его счет веселых анекдотов. Однако ему хотелось, чтобы конец его службы сошел как-нибудь на нет без потрясений, без катастрофы, между тем как евпаторийское дело иначе и не представлялось ему, как катастрофой.

Слишком свежим в его памяти было тяжелое впечатление от Инкерманской битвы, когда он не знал, куда девать тысячи раненых, чтобы повторять подобный же маневр в пустой и голой степи.

И вот единственное спасительное, что он мог придумать теперь, сводилось к тому, чтобы генералы, к которым он обратится с приказом вести войска на штурм Евпатории, отказались выполнить этот приказ. Правда, такой отказ был бы противен воинской дисциплине, но он был бы насущно необходим, чтобы предупредить слишком большие потери, совершенно лишние для хода дела.

И, не желая высказывать кому-либо этих своих затаенных мыслей, но в то же время находя нужным, чтобы их все-таки угадали другие, Меншиков сказал как-то вечером своему адъютанту подполковнику Панаеву:

— Ты ведь знаешь это... Когда я хотел повторить штурм Инкерманских высот, князь Петр Дмитрич отказался сделать это... сослался на свою старость... Потом и Липранди тоже отказался... говорил, что не надеется на успех... Может быть, они были тогда... по-своему и правы... Как ты думаешь, теперь вот не откажется ли и генерал Врангель, если ему поручить штурм Евпатории?

Панаев думал после этих слов разглядеть на сухом желтом лице Меншикова привычную для него ироническую усмешку или складку около тонких губ, но не увидел, а черные тусклые глаза глядели на него пытливо из полукружий седых бровей и резких темных подглазий.

Как давний адъютант светлейшего и человек очень наблюдательный, Панаев лучше других знал Меншикова: также и чаще других слышал от него многое, что не под силу бывало таить сокровенно даже и

такому тонкому дипломату, каким был главнокомандующий.

Полковник Волков приехал с личным письмом Николая насчет Евпатории еще в декабре, около 20-го числа, то есть больше месяца назад. Тогда Меншиков еще бодрился и даже иногда выходил на свежий воздух, хотя уже перестал ездить на своем муле.

Панаев видел и тогда, как неприятен был ему всякий вообще разговор об Евпатории в связи со штурмом ее. Волкова отправили тогда же непосредственно к генералу Врангелю, командиру отряда драгун, стоявшего под Евпаторией, чтобы там, на месте, «надежный» этот флигель-адъютант своими глазами разглядел как следует то, что слишком туманно представлялось из Петербурга. Светлейший вообще не терпел флигель-адъютантов и всячески стремился их поскорее сплавить, но Волков, как заметил Панаев, был ему гораздо ненавистнее всех, приезжавших раньше.

В своем письме царь очень подробно излагал, как Меншиков должен был действовать, чтобы отбиться от нового десанта союзников. Прежде всего им возлагались большие надежды на Врангеля с его драгунами, затем на подходившие десять батальонов 10-й и 11-й дивизий, наконец, на 8-ю пехотную дивизию, шедшую в Крым от Горчакова под начальством князя Урусова...

Опасения царя были очень велики; ему казалось, что десантная армия непременно должна будет пойти к Перекопу, чтобы запереть Крым и угрожать Крымской армии с тылу; он писал, что «без значительной пехоты тут (то есть у Перекопа) все может быть потеряно».

Чтобы показать какую-нибудь видимость дела, но в то же время как можно дальше отодвинуть диктуемый ему штурм Евпатории, Меншиков послал в начале января курьера к генерального штаба подполковнику Батезатулу, состоявшему тогда при Врангеле, с приказом тщательно обдумать и доложить план атаки на Евпаторию. Это с виду незначительное слово «тщательно» давало Батезатулу неограниченное время для размышлений.

Но в Петербурге забеспокоились такую явной оттяжкой штурма. Оттуда летели новые флигель-адъютанты с новыми письмами. Наконец, к Меншикову явился снова Волков и в выражениях весьма прозрачных дал ему понять, что царь очень недоволен слишком

медленной поспешностью главнокомандующего в выполнении монарших предначертаний.

Вот тогда-то, только что выпроводив Волкова, Меншиков и обратился к Панаеву со своим несколько запутанным вопросом о том, не откажется ли от штурма Врангель.

Панаев пригладил и без того гладко лежавшие, хотя и негустые, русые волосы и сделал самый неопределенный жест губами, решив до времени выждать с ответом, а Меншиков продолжал:

— Найди-ка толкового курьера, чтобы послать его к Врангелю... Я хочу вызвать его сюда для доклада.

— Слушаю, ваша светлость, — облегченно повернулся, чтобы уйти от больного и капризного старика, Панаев, но Меншиков остановил его брюзгливо:

— Постой-ка, куда ты?.. Успеешь еще... видишь ли, этот Волков докладывал, что государь поручил ему непременно присутствовать при взятии и разрушении Евпатории... При полном разрушении, чтобы было там место пусто... Место пусто! — повторил он с ударением. — А затем... затем еще говорил, что разрешено... если не хватит, если мало будет для этого наличных сил, то чтобы взять восьмую дивизию... когда она подойдет туда... А когда же именно она может подойти туда, восьмая дивизия?

— В начале февраля, пожалуй, она пройдет уже Перекоп, ваша светлость, — мгновенно, как опытный адъютант, подсчитав в уме дни, ответил Панаев.

— Но что же из того, если даже?.. — заgrimасничал Меншиков. — Допустим, что мы возьмем Евпаторию... с большими очень потерями, разумеется... что из того? Все равно мы не сможем ее удержать... Все равно ее придется очистить... что бы ни думали там, в Петербурге, на этот счет... Двух Севастополей в Крыму мы защищать не можем! Если бы даже этого захотелось союзникам, то для нас... для нас это слишком большая роскошь — два Севастополя!

### III

Барон Карл Егорович Врангель принадлежал к числу генералов скорее

мирных, чем воинственных, и об этом знал Меншиков.

В 1831 году он был ранен польской пикой в голову, и между почтенными сединами его сбоку багровел шрам. Ростом он был довольно длинен, но тощ. В движениях стариковская суетливость, в глубоких глазах угодливость к высшему начальству, а оттопыренные, притом острые уши придавали ему вид очень большой настороженности — вечного «начеку». Иным казалось даже, что уши эти имели способность двигаться.

Явившись в Сухую балку на Северной стороне, он был похож на кающегося грешника, удрученного тяжкими прегрешениями. Прегрешения же его действительно были серьезны: он решился просить главнокомандующего не вручать ему начальства над отрядом, предназначенным штурмовать Евпаторию.

— Посудите сами, ваша светлость, — говорил он Меншикову, сидя около его дивана, волнуясь и прикладывая сразу обе руки к сердцу. — Что могу сделать на таком посту ответственном я, кавалерист? Ведь у меня, кроме того, должен вам признаться, почти и опыта боевого нет!.. Нет, решительно нет!.. В Польскую кампанию только участвовал я в трех боях, но ведь я тогда кем же — ротмистром был! А вся остальная моя служба протекала вне боевых действий.

— Разве в Венгерской кампании вы не участвовали? — перебил его Меншиков.

— Только в походах участвовал, ваша светлость! А в делах против неприятеля бывать не пришлось!

— Ну, а на Дунае в эту кампанию?

— Так же точно и на Дунае только в походах был, а не в делах... Служба же моя здесь, в Крыму, проходит на ваших глазах.

— Гм... А разве так уж сильно союзники успели укрепить Евпаторию?

— сурово с виду спросил Меншиков, вполне довольный в душе таким скромным о себе мнением барона.

— О-о, оч-чень сильно, оч-чень сильно, ваша светлость! — точно для защиты именно от этих укреплений поднял и поставил ребром Врангель сухие ладони на высоте седеньких, котлетками, бак. — Я лично делал рекогносцировки... и неоднократно! И совместно с полковником Батезатулом, а также флигель-адъютантом Волковым.

— О Волкове говорить не будем, а Батезатул как? Такого ли он мнения об этом, как и вы?

— Точно такого же, ваша светлость. Во-первых, ров оч-чень широк и глубок, вал же крут и высоты большой... Во-вторых, много орудий, снятых с кораблей... В-третьих, гарнизон многочисленный...

Беседа Меншикова с Врангелем была довольно продолжительна, так как она доставляла удовольствие светлейшему. Выходил от него Врангель грешником прощенным: просьба его была уважена, хотя для видимости Меншиков и предложил ему еще подумать над вопросом штурма.

На самого же главнокомандующего желанный им отказ Врангеля командовать штурмом повлиял до того ободряюще, что он, отпустив барона, встал с дивана и не только прошелся, медленно двигая ногами, по своей хате, но даже рискнул выйти на воздух и поглядеть на бухту, на город, кругом.

Снег, выпавший в середине декабря, держался, к общему удивлению, почти до середины января, заставив и французов одеться в полушубки; об этом знал Меншиков из опросов довольно многочисленных перебежчиков, с ужасом говоривших о свирепой русской зиме.

Но теперь тянуло мягким, пропитанным озоном весенним воздухом с юга, от лазоревоего моря; явно живительное солнце дрожало яркими блестками всюду на легкой волне Большого рейда, небо раскинулось беспорочно чистое во всю ширь, и потому очень заметны были плывущие в него белые, плотные круглые дымки от пушечных выстрелов над ближайшими бастионами: это был час, когда бастионы обменивались обычными гостинцами с батареями интервентов.

Слабый, еле державшийся на ногах, главнокомандующий русской армией в Крыму осторожно втягивал в старые слежавшиеся легкие свежий воздух, не разжимая губ; казачий офицер, дежуривший у ставки, почтительно поддерживал его за острый локоть.

Может быть, так простоял бы светлейший, вдыхая весенний воздух, и еще несколько минут, но показалась из-за поворота Сухой балки весьма уже знакомая ему и весьма опротивевшая фигура полковника Волкова на знакомой тоже серой в яблоках лошади из конюшни

великих князей, и он поспешно повернулся, недовольно крикнул и, войдя в свою хату, рухнул на диван.

Таким беспомощно утонувшим в очень податливом расшатанном диване застал светлейшего Волков.

Флигель-адъютант навытяжку стоял перед генерал-адъютантом, но вид у него был спокойно требовательный и неотступный: перед «лицом императора» стояла здесь в тесной хатенке — главной квартире — «воля императора». Осанистый, излишне полный, хотя и молодой, полковник с царским вензелем на погонах почтительно наклонялся почти к самой голове Меншикова, чтобы расслышать его полусшепот о том, что Врангель считает выше своих сил и способностей вести свой отряд на штурм, что Евпатория, по его словам, укреплена очень сильно, что на успех дела он не надеется.

— Я участвовал во всех рекогносцировках, которые предпринимал генерал Врангель, ваша светлость, — отвечал тоном рапорта Волков.

— Мне известно мнение его, а также и полковника Батезатула... Я лично, конечно, не решаюсь оспаривать их выводов, но, ваша светлость, осмеливаюсь еще раз напомнить, что воля его величества должна быть приведена в исполнение...

— Несомненно должна, и я отправил генерала Врангеля еще раз, — сделал ударение на этих двух коротеньких словах светлейший, — как следует выяснить обстановку и обдумать план атаки.

Помолчав немного и пожевав губами, он добавил:

— Может быть, когда подойдет восьмая дивизия, то князь Урусов возьмет на себя эту задачу...

— Ваша светлость, в отряде евпаторийском есть генерал, который говорил мне, что он, если бы получил в свое командование отряд, ручается за то, что Евпаторию возьмет, — сказал Волков.

Меншиков поглядел на него изумленно и указал рукою на стул:

— Присядьте, пожалуйста!

Волков поблагодарил, поклонившись, и сел неторопливо.

— О ком это вы говорите? Какой это генерал? — перешел с полусшепота на обычную речь Меншиков.

— Это, ваша светлость, начальник штаба Врангеля и командующий всей его артиллерией генерал-лейтенант Хрулев.

— А-а, Хрулев, — слегка усмехнулся Меншиков. — Очень горячая голова у этого Хрулева... Горячая-с, да... Так мне писал о нем и князь Горчаков, который его лучше знает, чем я... А излишняя горячность в боевых действиях может привести к большой неудаче-с... Впрочем, я могу его вызвать сюда, чтобы не только вам, но и мне он... доложил, какими именно средствами располагать он хочет для успеха дела... чтобы мы могли обрадовать государя, а не огорчить... Его величеству достаточно и без того огорчений...

## Глава пятая. Степан Хрулев

### I

Крупный, красивый белый конь, с подстриженной гривой и подвязанным коротко хвостом, заляпавший грязью высокие сильные ноги по самое брюхо, довольно фыркал и тряс головой, когда его остановил всадник в кавказской папахе кадушкой и лохматой бурке: конь видел, что дорога была кончена, — дальше скакать некуда, дальше была широкая вода бухты, на ней корабли, а на земле кругом хотя и невзрачные и редкие, но дома, и хозяин его уже готовился спрыгнуть с седла, бросив поводья.

Передав коня своему ординарцу унтер-офицеру и поправив папаху и бурку, приехавший направился к знакомому уж ему домику главнокомандующего, а дежуривший в это время адъютант Стеценко, ставший с нового года капитан-лейтенантом, заметив его еще издали, доложил Меншикову:

— Генерал-лейтенант Хрулев, ваша светлость!

— А-а... да-а... Ну, что же, проси его, — вяло отозвался светлейший.

Только что сделавший в седле по очень тяжелой вязкой дороге неблизкий путь в несколько десятков верст, вошедший Хрулев представлял собою разительный контраст с расслабленным вождем всех оборонных русских сил в Крыму.

У него было обветренное, пышащее, раскаленно-кирпично-красное круглое лицо, тугие черные, прочно и лихо подкрученные усы, яркие глаза несколько навывкат; черные, с легкой проседью у висков, густые

волосы были низко подстрижены; и хотя ему было уже под пятьдесят, он казался сорокалетним, то есть молодым еще, боевым генералом.

Именно боевым, — такая, на всякий посторонний взгляд, стремительность клокотала в нем, хотя он и стоял по-фронтовому, по форме рапортуя, что «по вызову прибыл».

Подобная клокочущая в подчиненных, как вода на крутой стремнине, готовность по первому приказу броситься хоть на рога к черту всегда восхищает начальников, но Меншиков, предложив сесть Хрулеву, разглядывал его прищуренными и холодными глазами.

Он как будто сознательно решил даже на время забыть об Евпатории.

Он спросил, медленно двигая губами:

— Я хотел бы знать, каковы результаты... ваших работ в комиссии?

Хрулев был председателем комиссии, занимавшейся пригонкой штуцерных конических пуль с чашечками и полукруглых пуль со стерженьками к русским гладкоствольным ружьям. В комиссии этой, кроме него, было шесть человек. Опыты Баумгартена в его Тобольском полку Меншиков хотел основательно проверить, чтобы ввести это новшество во всей армии, и Хрулев, появившийся в Крыму в половине декабря, должен был решить важный для боеспособности армии вопрос, какие пули следовало предпочесть круглым.

— Ваша светлость, работу нашу я могу считать уже законченной, — ответил Хрулев, стараясь говорить по возможности тихо, чтобы не тревожить больного излишней зычностью, но в то же время плохо справляясь с голосом в силу привычки артиллериста перекрикивать рев орудий.

— Закончили?.. И что же? — несколько оживился Меншиков.

— Испытания производились согласно полученного предписания на дальность полета пуль, на верность полета пуль, на количество пороха, потребное для заряда, наконец на вред, наносимый ружьям нашим от стрельбы пулями нового образца, — отчетливо проговорил Хрулев. — И последняя задача больше всего отняла у нас времени. Теперь же и ее можно уж считать решенной. Комиссия остановилась на полушарных пулях со стерженьками.

— А-а!.. А вред от них для гладких стволов?

— Наименьший, ваша светлость! Полет же их наиболее правильный, и

пороху на заряд для них идет меньше, чем на конические, следовательно, они экономнее.

— Это хорошо... А дальность их полета?

— Доску в дюйм толщиной пробивают на восемьсот шагов, ваша светлость! — с торжеством сказал Хрулев. — А это значит, что по неприятелю пальба будет действительна и с дистанции в девятьсот!

— Это прекрасный результат, прекрасный! — еще более оживился светлейший. — Но это проверялось вами неоднократно?

— Результат окончательный! Этот результат делает наши ружья мало чем уступающими штуцерам, ваша светлость!

— Ну, конечно, пятьсот — шестьсот шагов разницы — это не так уж мало-с... Но все-таки результат прекрасный. Особенно, если иметь в виду, что траншеи противника везде приближаются уже к нашим контрапрошам... Жаль только, что у нас мало метких стрелков... Плохо учили стрельбе нашу пехоту!

Меншиков плотнее уселся на диване, внимательно поглядел на Хрулева, не нашедшего, чем отозваться на его слова, и сказал вдруг тоном безразличия:

— Сегодня я получил донесение, что четыре парохода направились от Херсонеса на север, полные войска... По всем видимостям, это десантный отряд, назначенный для Евпатории...

При последнем слове Хрулев развернул суховатые плечи и насторожился.

— Как? Еще четыре парохода с войсками? — спросил он изумленно громко.

— А сколько же пришло туда раньше? — любопытно спросил Меншиков.

— Точно установить этого не удалось нам, ваша светлость: они подходили и стояли на якоре, но часть их снималась, не разгружаясь, и шла на юг. По слухам, с турецким отрядом прибыл и Омер-паша, но в Евпатории не остался и выехал в Балаклаву... Проверить эти слухи нам не удалось.

— Флаг Омер-паши будто бы был замечен на одном из пароходов, — тем же тоном безразличия сообщил Меншиков, — следовательно, он думает лично защищать Евпаторию, на которую, как я слышал, вы

собираетесь напасть.

Хрулев еще более выкатил глаза. Он был очень удивлен и не знал, как понять последние слова главнокомандующего: шутка ли это с его стороны, или?.. Однако истощенное лицо князя показалось ему явно колючим, чуть насмешливым, а пристальный взгляд тусклых глаз, пожалуй, даже презрительным.

— Я, ваша светлость, собираюсь будто бы напасть на Евпаторию? — на всякий случай решил изумиться Хрулев.

— Да, это именно я слышал от полковника Волкова.

Все еще не понимая и после этих слов, что именно хочет сказать Меншиков, Хрулев, подумав, ответил:

— Флигель-адъютант Волков меня действительно спрашивал, имеется ли, на мой взгляд, возможность овладеть Евпаторией.

— Да-а... И как же все-таки на ваш взгляд?

В этом возгласе Хрулеву послышалась уже прямая, неприкрытая насмешка над ним; поэтому он выпрямился, даже откинулся корпусом на спинку стула и сказал твердо:

— Разумеется, с одними только кавалерийскими дивизиями смешно было бы идти на штурм укрепленного города, но с подходом восьмой пехотной и если ввести в дело всю артиллерию — полевую и легкую, успех мог бы быть налицо!

Это заявление Меншиков встретил многозначительной долгой паузой; наконец, спросил:

— На сколько же орудий всего вы рассчитываете?

— Приблизительно на сто, ваша светлость.

— Мм, да-а... А у противника сколько полагаете встретить?

— Едва ли там найдется столько!

— Значит, точных сведений об этом у вас не имеется? Но-ведь, кроме тех, какие поставлены союзниками в первой линии, должны быть резервные... Затем-с артиллерия кораблей линейных и пароходов, которые непременно придут на помощь гарнизону... А это уж будет далеко не сто орудий!

Покачав задумчиво головою, Меншиков добавил:

— Численность гарнизона вам известна?.. Впрочем, она ведь сильно увеличится, как только туда подойдут суда с десантом...

— В Евпатории много молодых татар, которых турки привели к присяге султану и обучают стрельбе, — уклончиво ответил Хрулев на вопрос князя, и тот понял это и выпятил неодобрительно губы.

— Вот видите! Численность гарнизона вам неизвестна, но, между прочим, много татар со всего Евпаторийского уезда... и из других, ближайших к нему... Эти будут защищаться отчаянно, потому что... им больше ничего не остается... Затем-с весь, может быть, десантный корпус Омер-паши, — а это, как писали в газетах, двадцать шесть тысяч... У вас же в распоряжении, даже считая восьмую дивизию, может быть сколько же всего? С небольшим тысяч двадцать? Затея безумная! Нет-с, это положительно может обернуться вторым Севастополем, только уже для нас! Блокировать, имея в виду, что там турки, это — одно, а штурмовать... штурмовать, чтобы бессмысленно положить там половину отряда, а со второй половиной бесславно уйти, как от Силистрии?..

Меншиков смотрел теперь на Хрулева недовольно и даже уничтожающе, и, заметив это, Хрулев отозвался запальчиво:

— А я ручаюсь, что Евпаторию взял бы штурмом после двухчасовой бомбардировки, ваша светлость!

Главнокомандующий изумленно поднял седые пучки бровей.

Этой самонадеянностью своей Хрулев очень живо напомнил ему генерала Липранди, который в начале октября вызывался сбить союзников с Сапун-горы, если получил бы во временное командование весь четвертый корпус для этой цели. Тогда он решил отказать этому предприимчивому начальнику дивизии, а командир четвертого корпуса Данненберг испортил все дело в бою при Инкермане.

Теперь, как и тогда, перед Меншиковым стоял очень важный вопрос, можно ли доверить такое слишком рискованное, со всех точек зрения безнадежное дело этому черноусому генералу с горячей головой, вдобавок очень мало ему известному.

Оценивая его про себя, он спросил, наконец:

— Вы, кажется, командовали штурмом кокандской крепости Ак-Мечеть в отряде Перовского?

— Точно так, ваша светлость, — эта крепость была взята мною, за что я и был его величеством награжден чином, который теперь ношу, —

ответил не без достоинства Хрулев.

— Да, да-с... Но ведь согласитесь сами, что какая-то там Ак-Мечеть это совсем не то, что Евпатория!

— Это не подлежит никакому сомнению, ваша светлость! Но ведь тогда у меня было всего только семь орудий, а теперь я рассчитываю иметь сто, которыми огонь гарнизона будет непременно потушен не больше как за два часа!

Меншиков долго глядел на Хрулева молча и по-прежнему изучающе: действительно ли родился он под такую завидно-счастливую звезду, или же он вызвал его в Крым из армии Горчакова только затем, чтобы испортить благодаря ему свой послужной список, уже достаточно, кажется, и без того испорченный полной неспособностью нескольких горчаковских генералов?

Хрулев же, со своей стороны глядевший на главнокомандующего не отрываясь, заметил, что у него был положительно вид жертвы, когда он начал говорить, наконец, часто останавливаясь, по-видимому выбирая слова:

— Государь желает штурма и... и, разумеется, взятия Евпатории, и мы должны это сделать... должны, вы понимаете?.. Но мы здесь, на месте, больше знаем, как сильна Евпатория... как сумели ее укрепить за несколько месяцев... Кроме того, я считаю нужным... напомнить вам... что шпионы из татар, разумеется, дают им там знать обо всем... что делается в отряде Врангеля... Вы только еще примеряетесь к штурму, а там уже все-е известно-с! Вы следите за ними, они за вами... Вы группами конными на рекогносцировки выезжаете... они же мотают это на ус! Зрительные трубы есть ведь и у них, а также мозги в головах. Кроме того, ведеты их стоят, конечно, везде... где только можно им их поставить... Ведь вот мы еще только думаем с вами, можно ли на них напасть, а уж четыре парохода английских... повезли туда от херсонесского маяка войсковые части... А когда этот наш замысел станет для них уже бесспорно явным, что тогда будет?

Хрулев решил промолчать, а Меншиков совершенно неожиданно для него закончил заговорщицким шепотом:

— Я могу вам разрешить по-пыт-ку штурма, — только попытку... Но зарываться, чтобы зря истребить половину отряда... этого я... это я

решительно вам запрещаю!.. Вы меня понимаете, надеюсь, а?

И главнокомандующий посмотрел на своего генерала так проникновенно, что Хрулев невольно поднялся и вполголоса, так же заговорщицки ответил:

— Слушаю, ваша светлость!

Как бы сразу успокоенный догадливостью, которой не ждал от этой горячей головы, Меншиков заговорил после этого гораздо громче:

— Ну, а что касается плана ваших действий, то... обдумайте его как следует и мне передайте завтра... написанным в виде диспозиции... но где вы можете написать это? Я думаю, что вам можно бы было устроиться у флигель-адъютанта Волкова... Да кстати, вот его вы могли бы взять... в начальники штаба своего отряда... как представителя его величества... А со своей стороны я могу вам дать подполковника Панаева... Панаев, он — лейб-улан... полезен вам будет при рекогносцировках... у него есть в этом опытность... Да и вообще можете ему поручить что-нибудь ответственное, он выполнит с успехом...

Помолчав несколько, он добавил:

— Что же касается до того, чтобы отливать пули, — я понимаю, конечно, пули нового образца для наших ружей, — то этим уж вы займетесь после дела...

Вложив некоторую игривость в последние слова, Меншиков простился с Хрулевым с виду непроницаемый, однако заметно утомленный не одной только длительностью беседы, но и скрытым смыслом ее.

## II

Бывает иногда так, что человек может развернуться широко и совершить громкое дело, если не целую вереницу подобных дел, но не находит случая развернуться. Между тем все данные для того он имеет, даже больше того: они всем кругом бросаются в глаза, эти данные, они для всех очевидны...

«Талант! — говорят о нем все. — Умница!.. Большого полета птица!» Однако как-то складываются обстоятельства так, что этой «птице большого полета» не дается возможности высоко летать, — и вот талантливый архитектор, например, вынужден строить скромненькие

обывательские дома, способнейший инженер казенно работает на худосочном заводишке, а смелый исследователь, человек, рожденный для глубоких и важных обобщений, прозябает всю жизнь каким-нибудь статистиком областного масштаба...

Но чаще все-таки бывает так, что случаи летать предоставляются судьбой, однако при этом подсовывается также и неуклонный предел каждого полета, и меру личных сил летуна суживают и сжимают черствые обстоятельства, предписанные извне.

Тогда жизнь проходит не то чтобы в безвестности и тоске по невоплощенным созданиям, а в понятной горечи оттого, что движется она по нелепо укороченной орбите.

Так именно и сложилась жизнь Степана Хрулева.

Он еще с детства знал о себе, что в какой-то, хотя и трудно определенной степени, приходится сродни самому непобедимому русскому герою Суворову, так выходило из родословных книг, что фамилии Суворовых и Хрулевых шли от одного общего корня, — и военную карьеру он выбрал себе сам еще с ребячьих лет.

Это было и неудивительно, пожалуй: нашествие Наполеона застало его пяти-шестилетним, и он воспитался на обаянии победы над величайшим военным гением новых времен.

Но, готовясь в офицеры, он отнюдь не был так практичен и рассудителен, как большинство его товарищей-кадетов, высчитывавших, через сколько лет службы и в каких именно рядах войск выйдут они в полковники, чтобы в силу этой весьма доходной — особенно в кавалерии — должности иметь со временем возможность приобрести имение в тысячу душ: на меньшем не хотели мириться пятнадцатилетние кадеты.

Хрулев-кадет мечтал только о боевых подвигах, и первая война, в которой удалось ему проявить себя, была Польская война 1831 года.

Тогда, за неполный год войны, он оказался участником тринадцати сражений, что доставило ему несколько орденов и повышение в чине. Однако и сражения эти были незначительны сами по себе и участие его в них поневоле ввиду его молодости могло быть только скромным, поскольку он был артиллеристом и в его распоряжении бывало не больше полубатарей.

Но вот наступили глубоко мирные времена. Чины, правда, шли, и вожденный для практических кадетов чин полковника он получил к концу сороковых годов, но развернуться, как бы ему хотелось, на полях сражения не представлялось возможности: не было таких полей. Поэтому-то, чуть только стало известно в 1849 году, что русские войска будут двинуты в Венгрию, Хрулев воспрянул духом: теперь он был уже не юный прапорщик около двух-трех орудий, теперь ему могли бы доверить серьезное дело.

Но война шла вяло. Из непонятных Хрулеву побуждений престарелый фельдмаршал князь Варшавский действовал чересчур осторожно, задавшись очевидной целью потушить восстание больше передвижением своих войск, чем боями. Хрулев сам напрашивался на разные рискованные дела, но получал отказы.

Наконец, ему, полковнику артиллерии, дали совсем маленький партизанский отряд — два эскадрона драгун и сотню казаков при двух орудиях. Командуя этим ничтожным отрядом, Хрулев должен был висеть на хвосте отступавшей в направлении на город Лозонч венгерской армии, предводимой одним из вождей восстания — Гергеем.

Висеть на хвосте отступавших было делом не хитрым, но Хрулев по своей горячности слишком далеко оторвался от русских сил, находившихся под командой генерала Засса и слишком уж вплотную прилип к арьергарду венгерцев, которые, дойдя до Лозончи, выставили против него кавалерийский полк и батарею.

Силы оказались весьма неравные, отступить безнаказанно уже не было возможности, поддержки своих ожидать было нельзя: казалось всем, что маленький партизанский отряд ждала неминуемая гибель.

Тогда Хрулев рассыпал своих конников всюду на пересеченной местности, которую занимал, с таким расчетом, чтобы их можно было принять издали за весьма внушительный отряд, и, в довершение этого, послал одного бойкого корнета с трубачом передать требование: если командующий венгерским отрядом не положит оружия добровольно, то будет немедленно атакован крупными силами. Конечно, это предложение сдаться было приписано самому фельдмаршалу, однако для храбрых корнета и трубача, появившихся

перед полком венгерских гусар, был весьма критический момент, когда на них наскочило сразу двенадцать офицеров с обнаженными саблями, готовых изрубить их в капусту. Но требование Хрулева было передано молодым корнетом настолько твердо и прозвучало так внушительно, что заставило наскочивших задуматься.

Дали знать о прибытии русского парламентаря самому Гергею в Лозончь, где одной кавалерии было четыре тысячи человек. Хрулев же тем временем решил подкрепить корнета еще и ротмистром, хорошо владевшим немецким языком, так что к Гергею явилось уже два парламентаря.

Гергей, с одной стороны, был очень озадачен требованием сдачи, с другой — не имел точных сведений о числе и расположении русских войск, вошедших в соприкосновение с его армией, с третьей — поджидал отряд, шедший на соединение с ним, и медлил с ответом, всячески задерживая посланцев Хрулева.

Гораздо хуже чувствовал себя Хрулев.

Правда, благодаря посылке парламентарей ему удалось продержаться до наступления ночи, однако об отряде Засса у него не было никаких известий, так что явно был он еще очень далеко. Чтобы внушить венгерцам уважение к силе своей горсти драгун и казаков, он приказал зажечь как можно больше костров и поддерживать их всеми способами целую ночь.

Была надежда, что за ночь успеет подойти хотя бы авангард отряда Засса, но наступало уже утро, казаки, посланные навстречу своим, вернулись на взмыленных конях ни с чем. Хрулев видел, что с восходом солнца венгерцы проникнут в его обман; поэтому, чуть забелело на востоке, он отправил в тыл бывшие с ним два орудия под прикрытием одного эскадрона, а с другим эскадроном и с казаками решил как можно дороже продать свою жизнь, но не сходить с места.

Однако с восходом солнца начал отступать от Лозончи Гергей, и торжествующий Хрулев видел, как тянулась, уходя от его эскадрона и сотни, многочисленная кавалерия впереди армии венгерцев, как двигались за нею полки пехоты, с орудиями в середине, потом бесконечные ряды повозок обоза и, наконец, снова кавалерия в арьергарде.

Вскоре после этого счастливого для Хрулева случая Гергей действительно сдался со всей своей армией Паскевичу, видя невозможность сопротивляться соединенным русско-австрийским войскам, а в записках своих впоследствии он признал, что мысль о сдаче подал ему не кто иной, как «дерзкий русский полковник Хрулев».

Из Венгерской кампании Хрулев вышел генерал-майором, что дало ему возможность проситься в действующую армию на Кавказ.

Это назначение он получил, но Кавказская армия представляла свой особый мир, в котором было гораздо больше отведено места кумовству и интригам, чем крупным боевым действиям. Там создавались военные карьеры и блистали свои имена.

Пробездействовав там около двух лет, Хрулев вывез оттуда только неизменную любовь к бурке, папахе и белому кабардинскому коню.

Но вот оренбургский генерал-губернатор Перовский затеял экспедицию против кокандцев, разорявших своими набегами подвластных России кочевых киргизов, угоняя их стада. Целью экспедиции была сильнейшая в Средней Азии кокандская крепость Ак-Мечеть, оплот хищников. Экспедиция эта снаряжалась, конечно, самим Николаем, и начальником отряда был назначен Хрулев.

Отряд двинулся из Оренбурга сперва к укреплению Аральскому, за шестьсот шестьдесят верст, куда прибыл в конце мая, сделав переход этот при сорокаградусной жаре, частью песками Яман-Кум. Отсюда вдоль реки Сыр-Дарьи, сделав четырехсотверстный поход за месяц, одолев и жгучий зной и пустыню Кара-Кум, русские солдаты добрались, наконец, до Ак-Мечети.

Крепость оказалась, как крепость, — четырехугольник стен с восемью фланкирующими башнями; стены, сделанные из твердой глины, были толщиной в четыре сажени при такой же, четырехсаженной, высоте по отвесу; кроме того, на гребне стен торчали зубцы вышиною в полсажени. Огромный ров был выкопан перед стенами, но артиллерия крепости была слаба, — всего три орудия; гарнизон тоже невелик: четыреста человек.

Все приготовления к осаде и штурму крепости велись по распоряжениям Хрулева; он же указал саперам удобное место для

перехода через ров, наполненный водою, чтобы заложить мину под стеною.

Мина была взорвана рано утром, и тогда Хрулев повел лично штурмовые колонны в образовавшуюся брешь.

Кокандцы защищались отчаянно, и крепость была взята не без потерь, но взятие Ак-Мечети, переименованной после в Форт Перовский, сильно встревожило англичан и явилось одним из поводов к начавшейся вскоре Восточной войне.

Восточная война перебросила Хрулева на Дунай, но на Дунае был достойный ученик старчески осторожного и медлительного фельдмаршала князя Варшавского Горчаков 2-й, поэтому дела в общем шли тихо и случаев крупно отличиться не представлялось.

Было одно не совсем рядовое дело под Каларашем, где удалось разбить шеститысячный отряд турок, перебравшихся на левый берег Дуная, и тут Хрулев показал, кроме редкостного умения владеть солдатами, еще и большую личную храбрость, но он командовал только левым крылом русских сил, и не ему досталась вся честь победы.

Зато ему безраздельно принадлежал успех сражения с отрядом Омер-паши под Туртукаем, причем это дало возможность Горчакову беспрепятственно перейти Дунай со всей своей армией под Систовом.

На Дунае же в двух местах — под Систовом и Никоподем — Хрулеву удалось рассеять метким артиллерийским огнем турецкие флотилии.

Наконец, он, имея под своим начальством Тотлебена, энергично начал было действовать под Силистрией, занимая острова на Дунае и устраивая на них батареи, но от Силистрии, неожиданно для себя был он оторван новым назначением: командовать авангардом, прикрывавшим главные силы русских от нападения турецкой армии со стороны

Шумлы.

Эта новая задача, возложенная на Хрулева, была им выполнена тоже вполне удачно: он разбил турок последовательно в двух сражениях — в конце мая и в начале июня 1854 года. Но Дунайская кампания уже кончалась, русской армии приказано было оставить Силистрию и очистить Молдавию и Валахию.

Развернуться так, как ему бы хотелось, Степану Хрулеву не удалось и тут, на Дунае. Однако он заставил говорить о себе, решительно выдвинувшись из серой массы затурканных и задерганных генералов армии Горчакова. Это-то и заставило Меншикова в декабре вызвать Хрулева в Севастополь.

Правда, хлопотать о том, чтобы непременно попасть в число защитников Севастополя, начал, конечно, сам Хрулев, но он приехал сюда в зимнюю распутицу, бездорожье и затишье на фронте.

И как же было ему, несмотря на все намеки Меншикова, вдруг взять и отказаться, подобно Врангелю, от такого, первого за всю его боевую работу действительно и по-настоящему крупного дела, как штурм Евпатории?

Это дело, несмотря на всю его трудность, свалилось на него, как вожделенная цель его давнишних мечтаний... В его руки давался уже не маленький отряд, а мощная двадцатитысячная сила с целой сотней орудий. Это дело должно было при удаче совершенно обезопасить тыл героической и многострадальной русской армии, отстаивающей Севастополь; это дело при удаче должно было совершенно спутать все карты интервентов.

Степан Хрулев понимал важность этого дела, как короткого, но очень сильного удара по рукам слишком обнадеженного и своим численным превосходством и своею лучшею боевой техникой врага.

## Глава шестая. Налет на Евпаторию

### I

Через день Хрулев выезжал из Севастополя помолодевшим на десять лет: мысль о захвате Евпатории стремительным штурмом с трех сторон завладела им с головы до ног.

Он уже начал эту военную операцию в ставке на Сухой балке тем, что «выторговал» у Меншикова в дополнение к полкам 8-й дивизии еще один полк — Азовский, который был знаком ему по Дунайской кампании и который здесь так блестяще овладел редутом на холме Канробера в Балаклавской долине в деле 13 октября.

Перед выездом побывал Хрулев в этом полку сам, долго говорил с командиром его Криднером и офицерами, шутил с солдатами и покинул его на спешных сборах к походу, решив именно этот боевой бравый полк поставить в первую линию при штурме.

Он знал, что в его распоряжении будут еще резервные батальоны Подольского полка, стоявшие по деревням под Евпаторией, но на эти батальоны не было у него твердых надежд: они целиком состояли из молодых необстрелянных солдат; полки же 8-й дивизии были еще на пути к Перекопу, и хотя он несколько знал эти полки, но им, как неминуемо растрепавшимся в дороге, отводил место во второй линии и в резерве.

С князем Урусовым, начальником 8-й дивизии, отношения у него создались еще там, на Дунае, почти приятельские, главным образом потому, что каждый из них считал другого гораздо глупее себя. Оба они признавались в армии хорошими шахматистами и часто играли друг с другом с переменным успехом.

Часть кавалерии, особенно драгун дивизии Врангеля, Хрулев решил спешить и придать к батальонам азовцев, и в разгоряченном мозгу его теперь, когда он ехал вместе с Волковым и Панаевым туда, к Евпатории, батареи, батальоны и эскадроны теснились, как фигуры на полной шахматной доске, вполне определенно известные ему по своим свойствам, но в то же время несколько тревожаще-загадочные по тому поведению, которое выкажут они в предстоящем деле.

Нервная вздернутость делала его многоречивым не по чину, но его просто угнетало то, что и медлительный Волков и осторожный Панаев держались с ним так, как принято у политических людей держаться с новым начальством.

Хотя было всего только 28 января, но воздух плыл навстречу чудесный, весенний, плотный, теплый, бодрящий и даже как будто с запахом каких-то луговых цветов, хотя начинали зацветать пока только одни крокусы, приютившиеся около грабовых и дубовых кустов; их золотые звездочки сияли ярко и веселили душу Хрулева, и он говорил возбужденно:

— В бытность мою в Кавказской армии слышал я об Ермолове Алексее

Петровиче, что отрубил он шашкой голову быку с одного взмаха — вот какая была сила у него в молодых годах! Вот каков был когда-то главнокомандующий русских войск.

Панаев же, которому в этих словах Хрулева послышалось косвенное осуждение Меншикова, не способного убить и муху, отозвался на это сдержанно:

— О бычьей голове я тоже слышал, но мне говорили и так, что голова эта придумана впоследствии для пущей важности.

— Пусть даже и так, — подхватил Хрулев оживленно, — пусть даже и придумали насчет бычьей головы, однако вот же нам с вами ее и после смерти нашей не подбросят, а Ермолову сейчас уже девятый десяток идет, и он ничего себе, дуб дубом стоит, повыше нас с вами головы на две и пошире раза в четыре! Если бы силы большой не было, до таких дремучих лет не дожил бы, будьте покойны! А жен у него на Кавказе осталось — десятки! Есть и черкешенки, и армянки, и у всех ребята от Ермолова выросли — богатыри богатырями!.. Можно сказать, если граф Орлов-Чесменский орловскую породу рысаков завел, то этот на Кавказе ермоловскую породу людей оставил, черт побери! А насчет бычьей головы — это было бы здорово, черт, перед солдатами проделать!.. На празднике полковом, например, поставить солдат амфитеатром, чтобы каждому ряду было видно, — в середине Ермолов с шашкой, в виде матадора испанского, и вводят в круг быка на веревке, в губах кольцо, глаза кровью налиты, хвостом по ляжкам бьет и ревет, — вот-вот тех, кто его ведет, на рога подденет!.. Тут-то шашку и пустить в дело! Только один взмах, черт побери! Блеснула шашка — и голова бычья стала сама по себе, рогами в землю, а туша тоже сама по себе со всех четырех копыт брык!.. Вот бы солдаты ахнули!.. Да они бы за подобным генералом после того куда угодно на карачках бы полезли, батенька мой! И никакие бы им валы и стены нипочем были...

Видно было едущему слева Панаеву, что бычья голова эта совершенно пленила воображение Хрулева, что он ее ему ни за что не уступит; Хрулев же продолжал с немалым жаром:

— А генерал Булгаков, Сергей Александрович, — его тоже кое-кто из стариков помнит еще на Кавказе... В начале века он там командовал

войсками на линии... Семьдесят лет уж ему тогда было, а на самом горячем жеребце персидском за зайцем мог скакать, как мальчишка!.. Подковы гнул и ломал в семьдесят лет, черт побери! Росту был колоссального, голосище протодьяконский... Как закричит на весь лагерь: «Ре-бя-та, ва-ли-ись!» — так «ребята» и валят к нему на обед, то есть все офицеры от прапорщиков до полковников... А он сидит в своей палатке и табак собственноручно трет для табакерки, черт побери, — вот фигура!.. А вино у него за столами пили из бычьих рогов, оправленных в серебро, и перепить его, семидесятилетнего, никакой черт не мог, не то что протодьякон! Вот какие были генералы в старину, когда гремели наши солдаты на весь мир! Солдат любит что именно? Чтобы генерал был первый солдат в армии!.. Чтобы он и быкам головы рубил, и подковы ломал, и чтобы на коне он скакал, как черт, и чтобы перепить его никому было нельзя!.. А когда, знаете ли, ты от солдата требуешь, а сам этого сделать не можешь, то какой же к черту ты генерал тогда? Вот также и генерал Хрулев: боится воды!.. Да-да-да, вы представьте только! Как только ему купаться, он двух казаков с собою берет, как маленький... Непобедимо боюсь утонуть и ничего с собою не могу поделывать, господа!.. Страдаю водобоязнию!

И даже как-то не совсем весело захохотал после этого Хрулев, показав все свои еще крепкие крупные зубы и сощуренными от хохота глазами наблюдая в то же время то Волкова, то Панаева, как отнеслись они к его откровенности насчет водобоязни.

Между тем грунт дороги, по какой они ехали, чем дальше, тем становился коварнее. Грязь несколько подсохла сверху, больше от ветров, чем от солнца, зато стала до чрезвычайности вязкой. Лошади едва вытаскивали ноги, вынося на них с каждым шагом все больше тяжести, точно деятельно и проворно кто-то штукатурил им ноги этой известково-глинистой массой.

— Эй, благодетели! — обернувшись, крикнул звонко Хрулев казакам конвоя. — А ну-ка, гони сюда!

Казачки гикнули на коней и скоро появились рядом.

— Сто-ой! Найди-ка там где-нибудь, хлопцы, щепку или что, — ботфорты эти неформенные с лошадей наших снять... да и со своих тоже...

И казаки, спешившись, принялись счищать плотно приставшую к лошадиной шерсти толстым и прочным слоем грязь, а Хрулев в это время, думая о будущем штурме, говорил, обращаясь к Волкову:

— Вот, например, то, о чем не имеют ясного представления там, в Петербурге, — и указывал пальцем на передние ноги своего белого, около которых возился казак. — Солдаты идут по команде: «Вперед марш», а за ноги их эта вот стерва клещами держит... Оттуда же, куда они идут, лупят в них всеми возможными средствами... В результате огромнейшие потери, а кто будет виноват в них? Грязь? Нет, она в реляции не попадет, конечно...

Волков подумал, посопел широким носом и ответил не на вопрос:

— В таком состоянии грязь ведь не может долго держаться... Она или высохнет, или, если дожди пойдут, станет жиже...

— Или замерзнет, — добавил Панаев, — потому что заморозков еще можно ждать сколько угодно, если даже не настоящих морозов градусов на пятнадцать.

— Ого! Это недурно! — подхватил Хрулев весело. — Если бы можно было заказать там, на небеси, подобный мороз, я бы его непременно заказал и даже месячное свое жалованье дал бы в задаток!

Добравшись до аула Бурлюк, Хрулев расположился там на отдых. Сожженные во время Алминского боя сакли аула татары успели уже местами поправить и заселить снова, а трактир по-прежнему стал гостеприимен, изобиловал жареной бараниной и вином, и хозяин его, оборотистый словоохотливый татарин с коротко подстриженной чалой бородой, чувствовал себя прекрасно, так как недостатка в гостях у него не было.

И, сидя с двумя своими спутниками, после баранины, жаренной с картошкой и приправленной красным перцем, за стаканами вина, Хрулев говорил, сияя ярко раскрасневшимися щеками и кивая на толпившихся в трактире татар:

— Во время оно, как вам и без меня, господа, известно, крымцы и ногайцы только и делали, что ходили конно, людно и оружно на Московскую Русь за молодыми бабами и девками, за парнями и ребятами и десятками тысяч гнали бедняг во полон... А потом в той же самой Евпатории и в Кафе — Феодосии, на базаре продавали их

турецким купцам... Погибла бы давным-давно эта Турция, я вам говорю, если бы не подливали к ней в жилы каждый год русской крови! Русские девки и бабы шли в гаремы, рожали там полурусских ребят; русские парни женились на турчанках, от них шли тоже полуроссы; ребятишки русские подрастали, турчились, принимали Магометову веру, — становились волками-янычарами... Вот и в Евпатории теперь... Говорится только, что в ней турецкий гарнизон, а попробуй-ка посчитайся с этими турками роднею! Может статья, что не одна сотня там на командных должностях найдется таких, что у них прадеды были Петры да Иваны, а прабабки — Матреша да Мавруши... Такие биться будут на совесть... Вот вы сказали мне насчет мороза в пятнадцать градусов, — кивнул он Панаеву, — а не скажете ли, кстати, и того, какому святому надо о подобной оказии молиться, чтобы как раз в день штурма такой именно мороз и ударил!.. Вот тогда можно быть уверенным, что Евпатория будет в наших руках!

— А почему же все-таки такое значение большое имел бы мороз, ваше превосходительство? — учтиво осведомился Панаев.

— Почему именно?.. Вот они знают, чего я опасаюсь, — повел Хрулев головою в сторону Волкова. — Мы вместе объехали всю линию укреплений турецких и знаем, что рвы пока сухи... Но что, если инженеры там, — французы они или англезы, — устроили нам сюрприз? Что, если, чуть только мы на приступ, они откроют, например, шлюзы и вода из моря хлынет сразу во все рвы?.. А рвы там, нужно вам знать, широкие и глубины большой. В море же воды, как вам известно, достаточно для каких угодно рвов... Вот вам и образуется барьер, через который не перескочишь... Генерал же Хрулев, как он вам сказал, страдает водобоязнью... потому что отдает себе ясный отчет, сколько будет стоить солдатских жизней подобный барьер. А если пятнадцатиградусный мороз вздумает к нам пожаловать, то снимет тогда Хрулев свою папаху и поклонится этому благодетелю в ноги!..

## II

Приехав в расположение кавалерийского корпуса, Хрулев не дал себе и часу отдыха: он тут же вступил в командование отрядом, проявляя

при этом деятельность, совершенно изумившую Панаева.

Между прочим, Панаеву как штабному работнику лучше, чем кому-либо другому, известно было непомерное самолюбие генералов и их вечные ссылки на старшинство в чинах и даже во времени производства в чины, поэтому у него были опасения, что Врангель в чем-нибудь заартачится, не захочет быть в подчинении у своего же начальника штаба. Но неожиданно с этой стороны все обошлось благополучно.

Врангель, правда, был удивлен таким скачком Хрулева через его голову с разрешения самого главнокомандующего, но все-таки быстро примирился с этим. Панаев, как адъютант Меншикова, передал ему личную просьбу светлейшего не оставлять увлекающегося Хрулева своими советами, и Врангель торжественно обещал «всемерно помогать и содействовать успеху предприятия, во всех отношениях рискованного».

У него и раньше был вид человека, удрученного опасениями и не уверенного в своей судьбе. Ему не нравилось находиться в близком соседстве с Евпаторией; это соседство не сулило ему ничего доброго. Теперь же он был обеспокоен вдвойне, потому что в «успех предприятия» совершенно не верил, очень его боялся и то и дело твердил Хрулеву:

— Меня утешает только одно — что вы самоотверженно сняли с меня всякую ответственность, Степан Александрович! Вы благороднейший человек, дорогой Степан Александрович!.. Позвольте дружески пожать вашу руку, родной мой Степан Александрович!

Но и при всей утешительности этого обстоятельства заметно было, как обычно лиловый шрам на правой стороне его головы побледнел от испытываемых волнений.

Еще когда только подъезжал от Севастополя к Евпатории Хрулев, он не мог утерпеть, чтобы не свернуть с прямой дороги в сторону тех самых озер, около которых производился десант интервентов в сентябре предыдущего года. Отсюда, держась близко к берегу моря, он выбрался к кургану, стоявшему близ правого фланга евпаторийских укреплений. Ему непременно хотелось с этого кургана рассмотреть, не прибавилось ли и насколько именно, если

прибавилось, орудий у противника. Однако курган этот оказался занят пикетом конных татар, которые открыли стрельбу и, слышно было, ругались по-русски.

Но эта разведка дала Хрулеву толчок к тому, чтобы именно с этого фланга, — правого для противника, левого для русских войск, — начать приступ. Тут, кроме кургана, который господствовал над местностью и мог быть занят без всяких потерь, лежало еще в стороне и кладбище, способное укрыть до двух батальонов пехоты. Перед фронтом же и с другого фланга тянулась открытая ровная степь, и тут всю надежду можно было класть только на артиллерию. Хрулеву представилось очень ярко, как именно отсюда, от кургана и кладбища, врываются азовцы в укрепления правого фланга турок так же точно, как ворвались они в редут № 1 в Балаклавской долине, и только тогда он дает сигнал, чтобы и две другие колонны его войск — центральная и правофланговая — шли на приступ.

В этот же заезд верстах в девяти от Евпатории, в тылу кургана и кладбища, облюбовал он себе под главную квартиру покинутый владельцем помещичий дом в имении Ораз, возле деревни Хаджи-Тархан, а на другой день переселился туда и разместил около себя свой скороспелый штаб.

Панаев, пробывший довольно долгое время адъютантом Меншикова, привык к тому, что тот обдумывал план сражения про себя и молча и только потом или писал сам, или диктовал совершенно готовую, но очень скупую на слова диспозицию, в которой множество невыясненных мелочей предоставлялось решению начальников отдельных отрядов.

Совсем не то он видел у Хрулева. Этот черноусый, некрупного сложения человек с блестящими цыганскими глазами обладал большим воображением и какою-то неистощимой энергией. Еще за несколько дней до штурма он уже шел на штурм, шел каждый час, каждую секунду часа, мгновенно перевоплощаясь то в батарею, то в батальон, то в отдельную роту пехоты, то в эскадрон драгун, то в саперов, то в санитаров с носилками для раненых, то в фельдшеров и врачей перевязочных пунктов, то, наконец, в кашеваров, которые в тылу, в безопасном от неприятельских снарядов месте, должны будут

расположиться, чтобы приготовить обед для резервных частей, для раненых, для всех, кто будет иметь возможность обедать в день штурма...

В расстегнутом мундире или даже совсем без мундира, чтобы ничто не стесняло его движений, то загребая, то отгребая тощими на вид, но жилистыми руками, то сгибаясь в поясе, то выпрямляясь внезапно, он метался по канцелярии своего штаба, всем в нем задавая работу по диспозиции.

Каждый день рано утром, чуть брезжило, он выезжал с кем-нибудь из своих штабных на рекогносцировку, подъезжая очень близко к неприятельским укреплениям и вызывая тем против себя оживленнейшую пальбу. И с каждой такой прогулкой под пулями он привозил в штаб что-нибудь новое, не вложившееся еще в диспозицию, не предусмотренное раньше, не представленное им прежде во всей своей яркой очевидности и осязаемости, однако важное.

— А штурмовые лестницы! — кричал он вдруг, едва входя в штаб, с розовыми от возбуждения щеками. — Послать приказ всем эскадронным командирам дивизии генерала Корфа, чтобы скрыто, — подчеркнуть это, — скрыто и непременно секретно где-нибудь в сараях, в конюшнях сейчас же начать работу по постройке лестниц указанного образца... А какого же именно образца, — позвольте! Образец — образцом, а лес — лесом! Надо иметь в достаточном количестве лес для постройки лестниц. Озаботиться этим вопросом капитану Мартынову! И ни минуты не мешкая, черт побери, извольте ехать сейчас же!.. А если чаю еще не пили, то проглотите на-скорях стакан чаю и марш, голубчик, — дело это не может ждать!

Мартынов, молодой штабс-капитан артиллерии, был при Хрулеве для особых поручений. Конечно, он тут же мчался в расположение дивизии улан барона Корфа хлопотать насчет штурмовых лестниц.

Или вдруг возникал вопрос у Хрулева:

— А как же так, господа, собираемся мы штурмовать и занимать Евпаторию, а расположение евпаторийских улиц и площадей? Может быть, вы привезли из Петербурга план Евпатории? — обращался он к Волкову.

— План Евпатории? — удивился Волков. — А разве здесь нельзя достать этого плана?

— У кого прикажете его доставать? Где доставать? Ведь я, лично я, — стучал пальцем себе в грудь Хрулев, — числился до сего времени начальником штаба евпаторийского отряда и отлично знаю, что никакого плана города у нас не было и нет... и никто о нем не вспоминал даже... А между тем, господа, как же можно без плана, черт побери?.. Вот у нас уже имеется в диспозиции, чтобы образа из православной церкви, хоругви, подсвечники, престол с антиминсом — всю вообще церковную утварь вынести на площадь на предмет отправления в наш лагерь... А вдруг там не одна площадь, а две или целых три? На какую же именно площадь? Ведь так всех с толку можно сбить, черт побери! Один будет тащить подсвечники на одну площадь, другой хоругви на другую, — ищи потом, где что!.. А ведь наша задача какая? Основательно ограбить Евпаторию, однако не жечь! Евпатория русский город, — русским и будет; жечь его — свое добро жечь, — преступление выше головы! Вывезти оттуда что ценное — это другое дело! Так и солдат всех оповестить: «Грабь с дозволения начальства!» Если солдатам обещать грабеж, да они к черту на рога полезут!.. Но ведь на вальяжный грабеж нам не дадут времени неприятельские суда, значит это надо проделать с быстротой фокусников, — не так ли? А как же это проделывать, когда плана города ни у кого нет?.. Вы были когда-нибудь в Евпатории? — обратился Хрулев к Панаеву.

— Никогда не приходилось, — ответил Панаев.

— Черт побери! Остальных хоть не спрашивай! Но, может быть, чертить планы умеете? Приходилось? И чтобы красками, как следует, а?

— Это могу, пожалуй.

— Можете? Отлично-с... Узнайте у кого хотите, как там и что в Евпатории, — где какая улица, где какая площадь, — и живым манером соорудите... Сколько именно? Десять?.. Нет, лучше уж всю дюжину, чтобы во все части раздать, черт побери, и чтобы обязать, обязать непременно выучить этот план наизусть!

Панаев разузнавал расположение улиц и площадей в Евпатории и

чертил и перечерчивал планы, другие писали и переписывали диспозицию, выросшую в толстую тетрадь, но все помнили при этом и о завтраках, обедах и ужинах, и о чае, и о сне; забывал обо всем этом, необходимом для поддержания энергии, один только Хрулев.

Просто даже как-то не находил времени для этого: подготовка к большой и, конечно, рискованной военной операции отнимала буквально все его время.

За обеденный стол он даже и не садился: пожует что-нибудь схваченное на ходу, запьет двумя-тремя глотками оставленного кем-нибудь из чинов его штаба холодного чая и опять принимается за диктовку все той же диспозиции, повторяя при этом:

— Кажется вам, господа, что это мелочи, однако от копеечной свечки целая Москва сгорела!.. А знаменитый подковный гвоздь?.. От потери гвоздя пропала подкова, от потери подковы пропал конь, от потери коня пропал всадник, от потери всадника пропала битва, от потери битвы пропало войско, от потери войска пропало царство! Итак, запишите, не поленитесь, благодетели...

Дальше шло что-нибудь, относившееся или к порядку движения отрядов к месту боя, или к размещению их в боевой линии, или к поведению их в городе, когда он будет захвачен после штурма...

Но работой над подробнейшей диспозицией не ограничивался Хрулев. Он вызывал к себе в Ораз то одного, то другого из командиров отдельных частей, расспрашивал их, оценивая при этом, чего они стоят, насколько можно на них положиться; отдавая им приказания, заставлял их, как солдат, повторять, чего именно от них хочет, и отпускал, только окончательно убедившись, что дело свое они представляют ясно и его исполнят.

Однако и этого ему казалось мало; он вызывал еще и адъютантов и ординарцев их и им втолковывал то же самое, чтобы не случилось ошибки по забывчивости их прямых начальников: он не возлагал больших надежд на человеческую память.

Иногда, уставая от напряжения, он кидался на оттоманку, чтобы отдохнуть, и тогда можно было видеть, как он то поднимал ноги кверху, то сгибал их в коленях, то разводил их, то сводил, то вытягивал правую, стараясь вытянуть и носок, то левую, но при этом

действовал и руками, проделывая ими шведскую гимнастику.

Это он называл отдыхать и, отдохнув так минут пять-шесть, снова вскакивал и кого-нибудь вызывал к себе, наставлял, втолковывал, относясь при этом ко всем не наигранно дружески, и только в случаях, крайней непонятливости кого-нибудь хватался за голову и говорил горестно:

— Вот какой уж я стал дурак: не могу объяснить человеку!.. Пропало дело!

### III

Пришел Азовский полк с генералом Криднером во главе; подтянулись резервные батальоны Подольского полка... Для действий 8-й дивизии была уже написана особая, притом обширнейшая инструкция, но самой дивизии пока еще не было, и никак не удавалось, несмотря на все уловки казаков по ночам, добыть «языка», чтобы узнать, много ли гарнизона в городе.

Напротив, с русской стороны перебежал в стан противника один улан поляк. Он был денщиком у одного эскадронного командира и вдруг как бы затосковал по военным подвигам и начал просить своего ротмистра позволить ему хотя бы раз постоять на передовых постах.

Ротмистр оказался добродушно настроенным, похвалил даже его за такое желание и нарядил в аванпосты.

Только и видели этого улана: изменник ускакал и передал, что на город готовится нападение, что уже идет работа по устройству штурмовых лестниц... Рекогносцировка, предпринятая на другой день после этого самим Хрулевым, показала, как за одну ночь удвоилось число орудий на укреплениях и как стало на них людно от придвинутых резервов.

По всем расчетам 8-я дивизия должна была подойти 3 февраля, почему и штурм был назначен на 4-е. Но 2-го утром появились неожиданно для Хрулева волонтеры греки, пять рот, всего около шестисот человек, и заявили, что 8-я дивизия 3-го прийти не сможет по причине глубокой грязи на дорогах.

На 4-е по диспозиции был назначен штурм, и это известие огорчило Хрулева, но греки-волонтеры упали к нему, как с неба в подарок: ему

ничего не было известно о том, что приготовлена для него такая поддержка.

Но она и не была приготовлена для него: греки должны были идти в Севастополь, а к Евпатории свернули они вполне самовольно, прослышав в пути, что главный командир здесь теперь Хрулев, которого они успели хорошо узнать еще на Дунае, и что против него стоят турки под командой Омер-паши, а турок они знали гораздо лучше, чем даже Хрулева.

Именно с турками-то им и хотелось теперь, как всегда раньше, сражаться; к ним они были полны огненной ненависти.

В Дунайской кампании на стороне русских участвовало их не пять рот, а много больше. Но при отступлении армии Горчакова только им посчастливилось перебраться вслед за последними русскими частями на левый берег Дуная. Другие же греческие роты не успели этого сделать и остались на правом берегу вместе с беженцами-болгарами, так как мост очень спешно был разобран. И эти отставшие их товарищи были настигнуты тут турецкой кавалерией и зверски изрублены вместе с болгарами.

Среди серошинельных солдат отряда Хрулева прибывшие греки казались оперно-живописными в своих национальных костюмах. На них были коричневые и синие, щедро расшитые короткие куртки, больше похожие по форме своей на жилеты, под которыми за широкими кушаками из шалей располагался весь их огромный арсенал: пистолеты, ятаганы, кинжалы, по несколько штук каждого вида оружия; кроме того, у всякого была привешена к тому же кушаку кривая турецкая сабля, а сзади красовался карабин... На головах круглые низкие суконные шапочки с кистями; лица у всех смуглые, обветренные, жесткие, из-под воинственного вида острых орлиных носов торчали лихие усы...

Пятеро капитанов их — командиры рот — гурьбою ввалились в штаб-квартиру Хрулева. Они сияли от удовольствия видеть боевого генерала, который встретил их, как старых своих друзей.

— Вовремя вы подошли: я как раз собирался идти в атаку на Евпаторию.

— Очень хорошее дело, господин генерал! — отозвались ему капитаны

через переводчика, так как ни один из них не говорил по-русски.

— Вот выберите-ка при мне себе старшего: он будет у вас за командира батальона, — предложил им Хрулев.

— Нет из нас никаких старших-младших: мы все равны между собою, — недовольно ответили капитаны.

— Помилуйте, что вы! Разве так можно! — улыбнулся Хрулев и сам выбрал из них наиболее плечистого и рослого за старшего.

Но капитаны сказали решительно и твердо:

— Все равно, господин генерал, мы его слушать не будем!

— Спроси их, — сказал переводчику Хрулев, — какого же черта им нужно?

Оказалось, что они не прочь были бы подчиняться русскому штаб-офицеру. Тогда Хрулев подвел к ним Панаева.

— Вот, — сказал он, — штаб-офицер вам! Притом же это не простой подполковник, а целый адъютант самого главнокомандующего, князя Меншикова!

Это последнее обстоятельство явно понравилось капитанам.

— Очень хорошо, господин генерал! — радостно согласились они, и каждый из них счел своею обязанностью, любезно улыбаясь, похлопать дружески по спине Панаева и подать ему руку в знак признания его своим начальником.

#### IV

В этот же день вечером встреченный на дороге разъездом казаков при офицере, заранее посланным для этой цели в сторону Перекопа, явился в штаб Хрулева и князь Урусов, опередивший свою дивизию.

Радостно-шумливо встретил его Хрулев. Широко раскрыв объятия, расцеловался с ним крепко. Тут же с приходу усадил его за горячий самовар и с первых же слов посвятил во все свои планы. Сказал и о том, что со штурмом Евпатории необходимо спешить, чтобы не дать противнику, предупрежденному уланом-изменником, подготовиться к защите свыше меры.

— Поэтому штурм я назначил на утро четвертого числа, — закончил Хрулев, сам наливая Урусову крепчайшего чаю и пододвигая к нему бутылку коньяку.

— На четвертое число чего? Февраля? — удивленно уставился на него Урусов несколько сонными, воспаленными с дороги глазами.

— Разумеется, февраля — не марта же! — удивился и Хрулев его удивлению.

— Это совершенно немыслимо, что ты!.. Дивизию после такого похода и вдруг — бух! — прямо под пушки! Дай же передохнуть хоть неделю! Урусов был моложе Хрулева лет на семь-восемь, но его служба в смысле чинов и положения шла гораздо успешнее, чем служба Хрулева, потому что проходила в гвардии, на глазах царя.

Даже и теперь, после дороги, он значительно отличался от Хрулева этой нарочитой барственностью гвардейца, который и в те времена, как и гораздо позже, считал своею первой обязанностью снисходительно-свысока относиться к армейцу, независимо от того, кто бы он ни был.

Казалось со стороны, что и глаза он щурил не потому, что ему сильно хотелось спать, — что было бы извинительно, конечно, — а потому только, что этим было принято в его среде подчеркивать свое умственное и прочее превосходство. Продолговатое лицо его было холеное и руки тоже. Несмотря на то, что он попал к Хрулеву прямо с дороги, он был довольно чисто выбрит; Хрулев же, забывший об еде и сне, забыл также и о бритье и зарос колючей щетиной.

— Неделю передохнуть дать? Ты шутишь, что ли? — испугался Хрулев.

— Когда же именно придет твоя дивизия?

— Когда именно, это, брат, сказать затруднительно, — растягивая слова, не спешил с ответом Урусов.

— Завтра начнет подходить, как я получил донесение... ведь так?

— Завтра может быть только один первый полк...

— Ну, вот и прекрасно! (Хрулев не ожидал и этого.) И чудесно, что завтра будет полк! Днем полк, вечером другой, ночью остальные два, а утром — пойдем штурмовать Евпаторию.

— Да, да, так я тебе и дал свою дивизию на убой! — пренебрежительно сказал Урусов. — Нет, брат, пока все до одного орудия в укреплениях не будут сбиты, я свою дивизию на штурм не поведу, как ты хочешь!

Хрулев принял это за дружескую шутку. Он даже расхохотался весело.

— Ну, еще бы, чудак ты, приказал я штурмовать раньше времени!..  
Итак, значит, четвертого утром...

— Кто тебе сказал, что четвертого утром? — изумился Урусов. —  
Четвертого моя дивизия только-только подтянется!

— Это вполне серьезно ты?

— Совершенно серьезно, и ты сам это увидишь своими глазами...

Хрулев потемнел, забарабанил пальцами, вскочил, прошелся раза три  
по комнате, наконец сказал:

— Один день в подобных операциях промедлить — это значит иногда  
совсем погубить все дело! Ну, что же делать... Тогда, значит, пятого  
утром... Придется изменить число в диспозиции...

— Пятого тоже будет нельзя, — спокойно сказал Урусов.

— Нет, уж если и не пятого, то уж тогда никакого, и черт его побери,  
этот штурм! — закричал Хрулев.

— А у тебя уж и для моей дивизии диспозиция готова? —  
полюбопытствовал свысока Урусов.

— А как же иначе? — удивился Хрулев и сам вытащил из шкафа  
толстую тетрадь. — Вот она, смотри!

Урусов, не отнимая стакана от губ, искоса заглянул в первый лист  
тетради и отвел ее рукой.

— Так нельзя, братец, я не приму твою диспозицию в таком виде, —  
сказал он теперь уже явно недовольно.

— То есть что именно нельзя? В каком «таким» виде? — опешил  
Хрулев.

— Как же так в каком? Ты везде пишешь мне в форме приказа:  
«Начальнику восьмой дивизии приказываю...»

— Вот тебе на! А как же иначе? — еще более изумился Хрулев.

— «Предлагаю» — вот как иначе, — невозмутимо ответил Урусов. —  
Ты, кажется, упустил из виду, что ты пока еще не командир корпуса...  
и даже не начальник дивизии, как я!

— Ну, пустяки, пустяки! — заулыбался Хрулев. — Я вижу, голубчик,  
что ты шутишь, только сразу как-то невдомек было...

— Нисколько не шучу, братец... Прикажи-ка переписать всю эту свою  
диспозицию!

Хрулев понял, наконец, что его приятель по Дунайской кампании

действительно не шутит.

— Но ведь ты приказом главнокомандующего вливаешься в мой отряд и становишься под мою команду! — уже не совсем уверенно произнес он, думая про себя, не отменил ли этого Меншиков и не стало ли это каким-нибудь образом известно Урусову прежде, чем ему.

— Хорошо, вливаюсь, но, во-первых, у тебя нет никакого отряда, насколько я знаю, — невозмутимо по-прежнему отпарировал это замечание Урусов, — потому что отряд этот барона Врангеля, а не твой; во-вторых, я, кроме того, что начальник дивизии, еще и генерал свиты его величества, — показал он большим пальцем на свой погон.

— Ну, ладно, ладно, не будем о чепухе спорить! «Приказываю» или «предлагаю» — не все ли равно? Не один ли это черт? — примирительно заговорил Хрулев.

— Вот именно, совсем не один черт, и я не буду читать твоей диспозиции, если...

— Не читай, — я тебе сам прочитаю и все объясню! — схватил тетрадь Хрулев.

— Не буду и слушать... Вели переписать, чтоб было везде «предлагаю»...

Хрулев воззрился на него в полнейшем недоумении: он видал его и раньше глупо упрямым, но таким не ожидал его видеть в ответственный момент. Сжимая себя самого, как тугую пружину, изо всех сил, чтобы не вспылить, не раскричаться и тем вконец не испортить дела перед самым его началом, он пытался все обернуть в шутку:

— Э-э, переписать! Тут на целую ночь хватит работы моему оберквартирмейстеру! Что ты выдумал!.. Ведь писали все это чины моего штаба под мою диктовку, — я писарям ничего тут не доверял, чтобы не перепутали и не дали огласки...

— Мне, брат, нет до этого дела, кто писал и кто будет переписывать... А вот прикажи переписать, и все, — уперся на своем Урусов.

Тогда Хрулев бросил тетрадь и выскочил из дома на свежий воздух, чтобы унять бунтовавшую кровь.

Когда же через четверть часа вошел он снова в столовую, где оставил Урусова, он увидел его посреди комнаты в кругу своих штабных. Куря

трубку, упрямец теперь весело рассказывал им что-то, первый начиная иногда смеяться коротким начальственным смехом, поощряющим на такой же ответный и даже несколько подлиннее и пораскатистей смех своих слушателей, начиная с капитана Цитовича, державшего свернутую в трубку злополучную тетрадь диспозиции.

Хрулев стоял у двери молча и хмурясь. Он, конечно, имел возможность за четверть часа, проведенных наедине, придумать немало доводов к обузданию этого «свиты его величества» генерала кавказского облика, но, прислушавшись к его смеху, решил все-таки выждать, чтобы не портить с ним отношений.

Между тем Урусов, заметив его и при плохом освещении, шагнул к нему сам, вполне дружелюбно говоря:

— Ну, вот, я тут без тебя решил так, чтобы переписали только один первый листок тетради, где обращение ко мне, а то действительно ведь и без того задал ты работы своему штабу! Потрудились на пользу службы, что и говорить!

— А самую-то диспозицию ты просмотрел? — сдавленно спросил Хрулев, глядя исподлобья и не совсем еще доверчиво.

— Ну, где же там!.. Пробежал кое-что вполглаза...

— Хорошо. Садись в таком случае к столу, я тебе прочитаю все сам, — отходчиво обратился к нему Хрулев, как поэт, нашедший ценителя своего творения.

Урусов изобразил и лицом и всем своим стройным ловким телом выражение обреченной на заклятие жертвы, даже вздохнул как мог глубоко; но все-таки сел, а Хрулев, с увлечением читая и разъясняя ему несколько лаконичный текст диспозиции, выпил между делом стакан остывшего чаю, на четверть добавленного коньяком, но совершенно этого не заметил.

V

Хотя 8-я дивизия и собралась вся к ночи с 3-го на 4 февраля, но Хрулев скрепя сердце оставил в силе новое приказание вести отряд на штурм 5-го числа утром; пришлось согласиться с Урусовым, что

прибывшим издалека полкам надо же хоть осмотреться днем, куда именно придется им идти в бой.

К утру 4-го все части, предназначенные к атаке, — и пехота, и драгуны, и батареи, и казаки, и греки-волонтеры, — стеклись к деревне Хаджи-Тархан.

Отслужили, как было принято, молебен... Еще раз проверил Хрулев, знают ли командиры частей свои места в штурмовых колоннах. Проезжая перед рядами солдат на своем парадно вычищенном, сияющем белом коне, придал он себе вид лихой и веселый. Поздравлял с предстоящим геройским делом, и солдаты «покорнейше благодарили». Сыпал шутками, запас которых был у него значителен, и солдаты разрешенно смеялись.

Греки, назначенные в голову левой колонны, просили Хрулева выдать им для рукопашного боя русские ружья со штыками, и приказ об этом тут же пошел куда надо. Однако прошел целый день в суете сборов к выступлению, но ружей они не получили.

Вечером, в сумерки, тронулся, наконец, отряд. Захолодало; земля застыла, однако не настолько, чтобы превратиться в камень. Она держала копыта и колеса, так что орудия шли без больших усилий лошадей и прислуги и без досадного грохотанья; солдаты тоже шли, не увязая и не стуча гулко тысячами сапог... Хрулев был доволен.

— Доброе начало — половина дела, — говорил он своему начальнику штаба, полковнику Волкову.

Когда подошли на расстояние не больше трех верст от укреплений города, было почти совершенно темно; ни одной звезды в небе, ни одного огонька кругом... Курить, конечно, было воспрещено строжайше.

Ночью, соблюдая возможную тишину, артиллеристы должны были подвезти свои орудия, саперы устроить для них эполементы, а цепь стрелков быстро развернуться впереди орудий, чтобы оберечь их от вылазки противника. И все это было сделано совсем уж недалеко от вала и не вызвало оттуда ни одного выстрела... Так выполнялась хрулевская диспозиция!

Но с выполнением приказа о выдаче ружей грекам-волонтерам сильно запоздали. Греки так и пошли со своими карабинами. Они роптали всю

дорогу, и батальонному командиру их, Панаеву, стоило большого труда их успокоить тем, что ружья непременно будут доставлены еще задолго до штурма.

Действительно, их привезли на ротных подводах вместе с подсумками и патронами, но что это были за ружья!

Конечно, для русских солдат, особенно молодых, из новобранцев, они сошли бы, но греки были знатоки и любители оружия, — недаром же ходили они каждый со своим арсеналом.

Даже и ночная темнота не помешала им всесторонне исследовать, что им такое поспешно всовывали в руки, проходя по их рядам. И вдруг поднялась такая отчаянная ругань, в которой слышал Панаев даже и русские ходовые речения, несколько искаженные только сильным акцентом.

Для того чтобы унять их ругань, надо было перекричать их, а кричать все-таки было нельзя, и он заметался между ними, умоляя успокоиться, чтобы не услышал неприятель; хотя до укреплений от того места, где они стояли, было не близко, но темнота ночи могла, конечно, укрывать патрули, пикеты...

Переводчик из балаклавских греков поспешно переводил, что кричали волонтеры:

— Измена!.. Измена!.. Нас погубить хотят, как погубили на Дунае наших товарищей!.. Нас первых посылают на штурм, а дают никуда не годные ружья!

Со всех сторон обступив своего начальника, греки совали ему то ружья, то подсумки, то патроны, сопровождая это таким галдежом, что переводчик едва успевал передать и десятую часть выкриков.

Панаев понимал, впрочем, и без услуг переводчика, что ефрейторы в ротах, собиравшие ружья для волонтеров, постарались отделаться от разного хлама, скопившегося за время войны, и потому-то сюда привезены были ружья, у которых совсем не взводились курки или даже не было собачек; штыки не держались на ружьях; шомпола были растеряны; ружья все были «темпистые», как это называлось у солдат, то есть способные дребезжать во всех своих частях при ружейных приемах, что так нравилось высокому начальству на смотрах, — но идти с такими ружьями в бой могли только русские

солдаты, а не иноземцы.

Патронные сумки почти все были разорваны до того, что бесполезно и даже очень вредно для дела штурма было бы доверчиво класть в них патроны, если бы патроны были настоящими боевыми патронами, но в этих патронах оказалось вместо пороха просо!

— Просо! Просо! — кричали греки Панаеву, высыпая содержимое патронов ему на ладони. — Кур кормить! Кур кормить!.. — Возмущение достигло предела.

Панаев не поверил крикам. В темноте он не мог определить, что такое появилось на его ладонях, но мелькнула догадка раскусить несколько зерен, и тут уж сомнений не оставалось: зерна эти даже и не пахли порохом.

— Обманули нас! — кричали греки. — Дубинки, дали вместо ружей! Просо вместо пороху!.. Вот так же и на Дунае предали наших туркам!.. Отвечать на это было нечего Панаеву. Оставалось только обещать им после штурма разобрать, кто виноват в доставке такого оружия, теперь же упрашивать их не кричать, чтобы не испортить всего дела. Греки, наконец, утихли.

## VI

Евпатория, получившая это греческое имя в силу мечты Екатерины и Потемкина создать из Крыма дорогу в Константинополь, называлась у татар Гезлев; конечно, потемкинские солдаты очень скоро переделали это имя по созвучию в понятный им Козлов, и на берегу их силами начали строиться просторные двух-трехэтажные каменные дома для разных учреждений. Остальной же город не менял своего восточного характера, и в нем оставались все те же запутанные, узенькие, фантастически кривые улочки, низенькие домишки под черепицей, дудочки минаретов.

Уже в первые дни после занятия города интервентами в нем поселился в качестве коменданта турецкий паша, выдававший себя за потомка крымских Гиреев, и принялся составлять и рассылать по окрестным татарским аулам прокламации, призывая татар переходить со всей своей подвижностью в город. Прокламации эти имели успех, особенно после Алминского боя; ушло в Евпаторию до тридцати тысяч татар,

которые пригнали до двухсот тысяч голов скота и привезли двадцать тысяч четвертей пшеницы, создав этим большое подспорье армиям интервентов.

Первоначальный гарнизон города, состоявший всего из нескольких рот французов и англичан, значительно был усилен за счет спешно обученных ими молодых татар, из которых была составлена пешая и конная милиция; татары же употреблялись и для обширных земляных работ по укреплению города.

Возможно, что не представило бы большого труда захватить Евпаторию гораздо раньше, — например, в декабре, но теперь в ней думали уже не о защите, а о нападении на русский тыл, и такую именно задачу должен был осуществить корпус Омер-паши.

Теперь гарнизон Евпатории почти вдвое превосходил по числу восемнадцатитысячный отряд Хрулева, и если на укреплениях стояло всего только тридцать четыре орудия и пять ракетных станков против двадцати четырех тяжелых и семидесяти шести легких орудий Хрулева, то на судах, защищавших город, было вполне достаточно мортир и пушек крупных калибров, с которыми не могла бы состязаться русская артиллерия.

Дезертир-улан сделал свое дело: штурма в Евпатории ждали и к нему были готовы. И все-таки около пятисот человек отряженных Хрулевым рабочих, беспрепятственно действуя всю ночь всего в пятистах метрах от укреплений, выкопали в подмерзшей, но вполне податливой земле и эполемнты для ста орудий и ложементы впереди их для штуцерников от Азовского полка и казаков; так что к пяти часам утра были подвезены сюда и бесшумно заняли свои места орудия и зарядные ящики. И как только начал брезжить утренний свет, с укреплений увидели, что русские уже обложили город тесным полукольцом.

Тогда началась канонада.

Начали ее оттуда, из укреплений, потому что туда прискакали испуганные татары пикета, стоявшего на кургане: на этот курган и на соседнее с ним кладбище двигались, становясь все виднее, плотней, осязательнее, русские колонны. Это были: батальон греков, разделенный на два отряда, батальон азовцев и четыре сотни

казаков; вел же их сам Хрулев.

Он успел уже обскакать всю линию и оценить ее хозяйским глазом, насколько это возможно было перед зарею, и за центр свой, как и за правый фланг, был спокоен, — там дело было в надежных руках, а полковник Шейдеман, ведавший действиями всей артиллерии, даже восхитил его распорядительностью и хладнокровием, установив в такой короткий срок все батареи. Правда, он был его ученик, и другого он от него не ждал.

Он не сомневался в том, что артиллеристы себя покажут в лучшем виде, а пехотные полки дружным напором в какие-нибудь полчаса займут укрепления, взорванные и разбитые снарядами; но левый фланг его казался ему самым важным: именно отсюда благодаря естественным прикрытиям скорее можно было подобраться ко рву и валу и потом броситься на штурм, дав этим сигнал к общей атаке; отсюда же, с кургана, как с самой высокой точки на местности, решил он руководить всем боем.

Та минута огромной в его жизни важности, минута, к которой неусыпно и неустанно несколько суток готовился он сам и готовил всех около себя, наконец, наступила торжественно: гулко ударили первые пушки, задрожал около воздух, потянуло пороховым дымом, и как будто даже сразу яснее, отчетливее стало кругом, и на кургане бросились в глаза яичная скорлупа, оставленная тут татарским пикетом, и клочок полувтопанной в землю бумаги.

Выстрелы раздавались все чаще, чаще. Хрулев жадно следил за разрывами русских снарядов там, на укреплениях, когда это позволял то подымавшийся клубами вверх, то оседавший дым...

— Та-ак!.. Так-так! — бормотал он, поворачивая голову в неизменной папаше то к одному, то к другому из своих штабных.

Накануне его цирюльник улучил все-таки момент сбрить с его подбородка и щек выросшую черную щетину, и теперь щеки его рдели от возбуждения, и штабные его им искренне любовались: он казался им явным центром всего этого, пока еще только орудийного и ружейного, боя, гремевшего кругом, — от него бесчисленными радиусами исходила энергия, начавшая и питающая бой.

Но сам Хрулев с каждой минутой все сильнее ощущал, что им

овладевает дремота. Он удивленно вздергивал плечами, стараясь ее сбросить, он излишне часто поворачивал голову вправо и влево, желая самого себя убедить в том, что эта дремота — какая-то досадная случайность, наваждение, а между тем верхние веки его тяжелели, тяжелели, опускались...

Раздался гулкий взрыв там где-то, в укреплениях...

— Ага! — вскрикнул Хрулев. — Так их, мерзавцев! Лупи!.. Пороховой погребок взорвали! — обратился он к флигель-адъютанту Волкову.

Волков что-то ответил, чего не расслышал за гулом орудий Хрулев.

О том, чтобы роты волонтеров-греков начинали наступление с первыми же выстрелами из орудий, было в диспозиции, и теперь Хрулев наблюдал, как они двинулись. Впереди каждой роты ехал верхом капитан. Эти пять капитанов точно соревновались между собою в молодцеватости, так лихо они держались на конях и так размахивали своими кривыми, турецкого изделия саблями.

— Молодцы греки! — кричал он в их сторону, точно могли они его расслышать. — Вы посмотрите сейчас, какая у них тактика! — обращался он то к Волкову, то к Цитовичу.

Удивляя между тем и своего батальонного командира Панаева, греки быстро рассыпались, размыкая ряды, и шли вперед, совсем оторвавшись от локтей товарищей, широким и свободным шагом! Свои карабины сняли они из-за спин только тогда, когда подошли к валу на ружейный выстрел, когда стала их доставать и орудийная картечь с укрепления и начали залетать в их ряды круглые турецкие пули.

Тогда части их рот вдруг падали на землю, как подстреленные, и отсюда, прикрывая себя какими-нибудь выступами, камнями, кочками, открывали стрельбу сами, в то время как другие части рот быстро бежали вперед, чтобы также упасть всем сразу и открыть огонь, когда начинали в свою очередь перебегать первые.

Это был тот самый рассыпной строй, который ввели в русской армии только после Крымской войны.

Вот заметил Хрулев, как один из капитанов-греков неловко сполз с коня головою вниз.

— Эх, подбили беднягу! — качнул он головою, но тут же заметил и за своею головою что-то странное: она свешивалась ниже, ниже, ниже...

он подбросил ее снова с трудом и, ожесточась, начал тереть себе уши, вспомнив о том, что это будто бы помогает от приступов дремоты.

Между тем привычное ухо артиллериста давало знать Хрулеву, что над его головой высоко пролетают крупные снаряды. Они посылались с моря, с парохода союзников. Иногда там, на море, показывались мачты двух пароходов, — остальное скрывалось в ватно-белом дыму... Утренний ветер нес с собою резкий холод, и Хрулев запахивал свою бурку, но, замечая, что так ему непобедимо хотелось сомкнуть глаза, распахивался снова. Холод оживлял тело, сбрасывал коварную скованность, которая овладевала уже и спиной его, подавая ее вперед, к луке седла, так что был такой момент, когда уж не он Волкову, а Волков ему крикнул:

— Еще один погреб взорвали наши!

— Ага! Да! Здорово! — машинально отозвался Хрулев и затеребил свои уши, пропустившие такой успех молодцов-наводчиков.

И тут же появилась мысль, что нужно отослать от себя куда-нибудь этого флигель-адъютанта, чтобы он не заметил, что его, генерала Хрулева, одолевает дремота как раз во время боя, так преступно некстати!

— Вот что, голубчик, — обратился он к Волкову, — сделайте милость, поезжайте посмотрите, как там у князя Урусова... и вообще... потом доложите мне...

— Слушаю! — взял под козырек Волков и спустился с кургана.

## VII

Устроенные по планам и под руководством французских инженеров, опытных в этом деле, евпаторийские укрепления могли, как оказалось, долго сопротивляться даже и более сильному обстрелу, чем какой выдерживали они в этот день, тем более что вооружены они были орудиями крупных калибров. Полевая артиллерия русских производила, конечно, значительные опустошения в рядах защитников укреплений, так как резервы были подтянуты в ожидании штурма, немалое число орудий там было подбито, а кроме двух пороховых погребов в начале боя, удачными выстрелами были взорваны еще три. Но все это не могло заставить совершенно

замолчать их батареи, несмотря на всю меткость огня русских артиллеристов, когда почти ни один снаряд не пропал даром.

Уже более двух часов шла артиллерийская дуэль. Как это и было предусмотрено диспозицией, батареи легких орудий посылались Шейдеманом вперед и занимали линию не больше как в трехстах метрах от вала, осыпая турок картечью. Штуцерники-азовцы передвигались еще ближе, чтобы быть впереди своих пушек. Турки теперь стреляли в них уже не пулями, а «жеребьями», как это называлось у солдат, то есть кусками пуль, для чего круглые пули резались на четыре части.

Между тем пароходы интервентов выстроились и с левого и с правого фланга Евпатории, и снаряды их дальнобойных орудий находили свои жертвы в глубоком резерве, в полках Урусова и среди улан Корфа.

Когда вернувшийся на курган Волков докладывал об этом Хрулеву, тот едва поднял пудовые верхние веки, с явным и огромным трудом вглядываясь в него мутными глазами: он дремал, сидя в седле, когда все кругом него грохотало, гремело, рвалось. Но вот до его пробудившегося сознания дошло насчет потерь, которые несут резервы от огня пароходов, и он сказал, вдруг усмехнувшись:

— А если бы вся эскадра союзников пришла сюда, а?.. Как она и придет, когда мы возьмем Евпаторию!.. Как она и придет, да, да... — Он потряс головой, потер уши, огляделся и закричал вдруг: — Лестницы, лестницы отчего же не несут?.. Лестницы штурмовые сюда! Он заметил, что, кроме греков, близко подобралась к валу и спешенные драгуны, что уже набухло, назрело, настало время для штурма, но он не разглядел, что лестницы лежали на земле, — ничего не было упущено из его распоряжения, — все было готово для того, чтобы под сильнейшим огнем вскарабкаться самозабвенно на вал.

Он шевельнул поводья, и белый конь его, тормозя задними ногами, начал спускаться с кургана; в голове же Хрулева било отчетливо, как молотом по наковальне:

«А зачем штурм?.. А на кой черт?.. Чтобы уложить тысяч шесть ребят?.. Старик прав, конечно: пустая затея!.. Он на диване полудохлый лежит, а больше этих петербургских понимает!»

«Петербургскими» он окрестил при этом, кроме флигель-адъютанта

Волкова, еще и военного министра, князя Долгорукова, и самого царя, наконец.

Но приказ его о лестницах уже полетел к атакующим вместе с одним из его штабных. Лестницы были подтащены к самому рву, и Хрулев издали разглядел какую-то крупную заминку в деле: он видел, что лестницы подымались и бросались в ров, но люди оставались перед рвом, падая под пулями турок.

— Что там такое? — спросил он у подъехавшего к нему Панаева.

— Вода, ваше превосходительство! — обескураженно ответил Панаев.

— Вода?.. Во рвах вода?.. А что?.. Я так и думал!.. Шлюзы!.. Были шлюзы, и их открыли.

Дремота покинула Хрулева. Он даже почувствовал прилив сил, и в голове его стало ясно, как редко бывало когда-нибудь в его жизни; а Панаев продолжал докладывать:

— Лестницы поплыли, когда их вздумали перекинуть через ров.

Хрулев знал, что лестницы делались из шестиаршинных брусьев, и вот они не достали до другого берега рва и поплыли... Но ведь они делались и не для того, чтобы по ним переходить ров.

— Раз вода, значит кончено! — отчетливо отозвался на донесение Панаева Хрулев. — Вода — неодолимое препятствие!.. Прикажите моим именем трубить отбой!

Панаев в недоумении стоял, не двигая лошади.

— Отбой, приказываю я! — крикнул Хрулев. — Евпаторию взять нельзя!.. Отступить!

И Панаев повернул лошадь в сторону своих греков, Хрулев же поскакал к колонне, наступавшей с фронта.

Около резервных батальонов Подольского полка он остановился и скомандовал:

— Налево круго-ом... марш!

Но молодые солдаты ближайшего к нему батальона смотрели на него в полнейшем недоумении. Они знали, конечно, что значила команда «налево кругом, марш», но у них не хватало духа ее исполнить, так что Хрулеву пришлось повторить ее.

Однако солдаты закричали:

— Зачем, ваше превосходительство, налево кругом? Прикажите вперед идти! Мы возьмем, — только прикажите!

Этого не ожидал даже и сам Хрулев. Молодые солдатские лица колыхались перед ним в дыму, и общее выражение их было умоляющим, как у ребят, которые просят красивых игрушек или сладких конфет. Он даже поколебался было на мгновение, но пересилил эту слабость.

— Сейчас пока мы пойдем обедать, братцы, — прокричал он, — запасемся патронами, а после обеда Евпатория будет наша, ура!

— Урра-а! — радостно заорали подольцы и повернули «налево кругом».

Хрулев же направился прямо к Урусову.

Даже Урусов, который сам два дня назад говорил, что не поведет дивизию свою, пока не будут приведены к молчанию все неприятельские орудия, и тот несказанно был удивлен решением Хрулева.

— Отступить? Как так отступить? — повторял он. — Ты не шутишь, нет?

— Отступить непременно! — твердо приказал Хрулев.

— Не понимаю, братец! Так хорошо начали и так скверно кончаем! Солдаты мои так и рвутся вперед, — как же я их поверну назад? Мы бы Евпаторию взяли!

— На черта нам ее брать, — рассуди сам! Только людей зря губить! Игра не стоит свеч!

— Я не решаюсь командовать отступление, как хочешь, — упрямо сказал Урусов.

— А-а, не решаешься, — это другое дело! Тогда я скомандую сам!

И, заехав перед фронт центральной колонны, он выхватил свою кавказскую шашку и зычно, как на параде, скомандовал:

— От-ступ-ление в шахматном порядке! Первые батальоны, начи-на-ай!

Команда его, поданная, как на параде, так же как на параде, передавалась всеми батальонными командирами своим батальонам, а Хрулев держал в это время шашку «подвысь», и когда отзвучала последняя передача,

скомандовал:

— Марш! — и только тогда опустил шашку.

Точно и в самом деле на параде или на большом линейном ученье в лагере, первые батальоны повернулись по команде своих командиров «налево кругом» и пошли в тыл, старательно отбивая ногу.

Перед вторыми батальонами повторилась подобная же команда Хрулева, и также держал он шашку «подвысь»...

Быть может, и турки и французы, бывшие с ними в укреплениях, были изумлены этим торжественным маршем назад только что бывшего очень грозным для них русского отряда. Но когда прошло это изумление, началась оживленная пальба вслед русским каре. Даже вылетело два-три эскадрона турецкой конницы, но, батальоны азовцев, бывшие в арьергарде, остановились, взяли «на руку», и эскадроны повернули обратно.

Скоро прекратилась и пальба из Евпатории, так как она стала уже бесцельной, а потом и с пароходов.

Штурм кончился так же внезапно, как и начался.

## VIII

Когда отступление было завершено так, что и арьергардные части вышли из-под действия дальнобойных морских орудий, Хрулев справился, все ли раненые подобраны. Эти сведения мог дать только старший хирург отряда, врач Райский. Послали за ним, и он сказал, что если какие и остались, то совершенно безнадежные, жизнь которых висела на волоске; все же остальные перевязаны, и тяжело раненные уложены на подводы, а легко раненные идут в строю вместе со своими товарищами.

— Сколько же все-таки вы насчитали раненых? — спросил Хрулев.

— Человек около пятисот, — ответил Райский.

— Все-таки!.. Да убитых, должно быть, не меньше двухсот... Вот во что обошлась эта затея... Ну все-таки, я думаю, не совсем зря: у турок, по моим расчетам, наберется втрое больше потерь, — будут помнить! И едва ли уж теперь скоро высунут оттуда свой нос... Дело мы все-таки сделали, а теперь отдыхать!

И точно это себе самому он во всеуслышание разрешил отдых, Хрулев

тут же крепко уснул, сидя на лошади.

Кавалеристы умеют это делать — спать и не вываливаться из седла, но на всякий случай Волков и Панаев, один справа, другой слева, ехали рядом с ним и наблюдали за ним.

Когда же войска пришли к тому месту, где заранее был приготовлен обед, снятый с лошади Хрулев лег прямо на землю на чью-то шинель, подложил под голову папаху, укрылся с головой буркой и заснул, как в могиле.

Пообедали люди; было уже за полдень. Никто из начальствующих лиц не знал, что делать дальше.

Волков все-таки не мог примириться с мыслью, что «воля его величества» непременно взять Евпаторию и предать ее полному разрушению не была выполнена. То, что было сказано Хрулевым молодым солдатам-подольцам, стало ему известно, и это дало ему мысль разбудить начальника отряда, который после обеда должен был возобновить наступление.

— Ваше превосходительство!.. Степан Александрович! — начал легонько тормошить его он.

— Степан Александрович, вставайте! — присоединился к нему полковник Шейдеман, который не знал, держать ли ему батареи под своей командой, или распустить по своим частям.

— Степан Александрович! — толкали они его сильнее, видя, что он не открывает глаз.

— Степан Александрович!.. Ваше превосходительство!.. Генерал Хрулев! — кричали они ему в уши, перекатывая его вместе с буркой и папхой.

Все было бесполезно.

Подошел Урусов. Ему пришла мысль запустить по-кадетски Хрулеву в нос «гусара». «Гусар» подействовал. Хрулев чихнул свирепо и приоткрыл один глаз.

— Что делать с войсками? — крикнул ему, нагнувшись, Урусов.

Хрулев выругался и добавил:

— Развести по домам!.. Дать лошадь!

Солдаты замаршировали дальше. Хрулева кое-как снова усадили на его белого коня. Он склонился к его шее и опять уснул. А когда

доехали до деревни Тюп-Мамай, где собрался обоз и где была квартира штаба, Хрулев, не раздеваясь, утонул в своей оттоманке и проспал, не просыпаясь, восемнадцать часов, наверстывая несколько бессонных ночей, отданных им на подготовку к несостоявшемуся штурму. Можно было сказать, что спал он сном праведника. Он взял на себя задачу штурма для того, чтобы была выполнена «воля императора», и не довел дело до конца, выполняя волю «лица императора» и прямое требование здравого смысла ведения войны — зря не расходовать людей.

Глава седьмая. Николай заболел

I

Полковник Волков получил предписание еще в Петербурге немедленно возвратиться после взятия Евпатории, чтобы осведомить царя об этом деле с неподкупной честностью флигель-адъютанта и точностью одного из участников боя. И он отправился поспешно, не дожидаясь не только реляции Меншикова, но даже и того, когда вздумает проснуться Хрулев. Состояние главнокомандующего было ему известно, его отношение к штурму Евпатории — тоже.

Сопроводительные бумаги он получил от Врангеля, к которому снова после несостоявшегося штурма переходило командование евпаторийским отрядом. И, отъезжая на север, Волков не скупился про себя на самые нелестные оценки и Меншикова и Хрулева, невзначай затормозивших его продвижение по службе.

Мнение Хрулева о том, что турки не отважатся теперь высунуть нос из Евпатории, он слышал, но никакого значения ему не придал. Ему казалось, что слова эти говорились полусонным человеком с явной целью оправдать неспособность к действию в самый решительный момент боя.

Однако он понимал и то, что нельзя было обрисовывать ни Меншикова, ни даже Хрулева царю так, как они представлялись ему самому. Нужно было как-то смягчить краски, чтобы не слишком раздражить царя.

Дальняя дорога давала ему достаточно времени для подыскания нужных выражений, но он не знал того, что застанет царя больным и что болезнь его придворные медики отнесут в разряд серьезных.

Был бал в конце января у Клейнмихеля по случаю свадьбы его дочери, вышедшей за гвардейского офицера. На этом балу присутствовал царь в знак особой милости к своему давнему любимцу, но к себе в Зимний дворец он увез с этого бала грипп.

Грипп тогда не считался еще заразной болезнью; говорили: царь простудился, начал кашлять, слег даже, что было совсем непривычным ни для него, ни для придворных.

Нельзя сказать, чтобы Николаю совсем не присуще было болеть.

Хотя внешность его, казалось бы, исключала всякое предположение о слабости, но придворные врачи лучше знали его организм, чем высшие чиновники, бывшие на приемах во дворце, или офицеры и солдаты, видевшие его на смотрах, маневрах, парадах.

Правда, Николай пережил всех своих братьев, и старших — Александра и Константина, и младшего — Михаила. Александр умер всего сорока восьми лет от воспаления мозга; Константин — пятидесяти двух от холеры; Михаил — пятидесяти одного года от паралича. Между тем в 1855 году Николаю шел уже пятьдесят девятый год.

Крепкое сложение в соединении со строгим режимом давало ему возможность справляться с нетрудными болезнями, однако в особую прочность своего здоровья он не особенно верил и любил лечиться так же, как любил позировать художникам.

Врач английского посольства Грэнвиль, приглашенный для осмотра заболевшего Николая в 1853 году, пришел к выводу, что он может прожить еще не более двух лет, однако, по вполне понятным причинам, этот вывод был сообщен только английскому послу сэру Гамильтону Сеймуру, а этим последним — министру иностранных дел Англии.

Можно предположить, что обнаружен был довольно далеко зашедший наследственный склероз, но достаточно ли было склероза, чтобы в такой короткий срок справиться с сильным еще организмом царя? Несомненно, что на помощь склерозу пришли неудачи Дунайской

кампании и Крымской войны, так как причины этих неудач коренились в плохом управлении страной, а правил страной сам Николай, называвший себя «самовластным».

Из придворных медиков наибольшим доверием его пользовался Мандт. В русскую медицину Николай не верил, однако слишком приближенный им к себе немец Мандт был вполне способен уморить и гораздо более молодого и крепкого пациента, чем русский царь.

Холера, появившаяся в России при Николае, — точнее паника перед нею, не щадящей даже и лиц царской семьи, — заставила обратить «милостивое внимание» на Мандта, написавшего на немецком языке брошюру о лечении этой грозной болезни. Брошюру эту приказано было немедленно перевести на русский язык и разослать для руководства по всем военным госпиталям и лазаретам, а сам Мандт приглашен был в лейб-медики и очень скоро приобрел исключительное влияние на царя, так как весьма легко было ему, невежде в медицине, подчинить себе полнейшего невежду в этой области Николая и заставить его уверовать в свою «атомистику», которая имела такое же отношение к подлинно научной медицине, как алхимия к химии или месмеризм к здравым понятиям о вещах.

Мандт являлся учеником прусского врача Радемахера, который определял болезнь, как «совершенно непостижимое для разума поражение жизни», и лечил все болезни медью, железом и селитрой.

Мандт усвоил у своего учителя эту простоту в обращении с болезнями и создал свой метод лечения, основав его на гомеопатии Ганеманна — лечении очень малыми дозами лекарств.

Может быть, этим он и пленил весьма экономного к концу жизни Николая; по крайней мере все военные врачи получили вдруг предписание являться на смотры и парады с особыми сумками, в которых были бы «атомистические» лекарства Мандта, способные едва заметными крупинками и с наименьшей затратой времени восстановить испортившийся механизм солдата или офицера. Этим достигалось истинно строевое отношение к разным нежелательным человеческим слабостям, мешающим иногда гармонии смотров в высочайшем присутствии.

Очутившись при русском дворе, Мандт как нельзя лучше своею

деятельностью доказал царю, что вся вообще русская медицина стоит на совершенно ложном пути и что поэтому число студентов медицинских факультетов может быть значительно сокращено в видах спокойствия и порядка внутри страны. Хирурги, конечно, пусть остаются, здесь ничего сделать нельзя; ланцет хирурга — все равно что штык солдата, неопровержим; но терапевты стали в глазах Николая полными профанами с появлением у него Мандта.

Даже в Севастополь послан был ящик его лекарств с приказом «употреблять их преимущественно перед всеми прочими». К счастью множества больных севастопольского гарнизона, ящик этот прибыл только тогда, когда о посылке его в Петербурге забыли по обстоятельствам, совершенно непредвиденным.

## II

Когда в конце 1800 года Павел I пригласил директора кадетского корпуса, генерала Ламздорфа, в воспитатели к двум своим младшим сыновьям, Николаю и Михаилу, он сказал ему:

— Ты обязан взяться за это дело, если даже не для меня, то для России! Требую от тебя только одного, чтобы не сделал из них таких же шалопаев, каковы все немецкие принцы.

И Ламздорф, по мере своего разумения, начал выполнять сложную программу воспитания маленьких царских ребятишек.

Он сек их розгами почти ежедневно, и этот испытанный прием воздействия был разрешен ему безусловно, причем каждое сечение заносилось для памяти в подробный журнал занятий с принцами.

Нельзя сказать, чтобы сечение это переносилось ими легко; нет, заливаясь слезами, они в первое время прибегали к своей няньке, шотландке мисс Лайон, с горячей просьбой, не возьмет ли она на себя эту обязанность, чтобы сечь их не слишком больно.

Но Ламздорф был человек раздражительного характера, и когда приходил в ярость, то уж не довольствовался методическим сечением, а колотил принцев линейками, бил их ружейными шомполами и вообще всем, что попадалось под руку. А однажды, окончательно выйдя из себя, схватил Николая за шиворот, поднял его на воздух и так ударил его об стену головой, что тот лишился сознания.

И вот все педагогические приемы своего достойного воспитателя Николай, сделавшись императором, применил к России. Он сек ее розгами, бил шпицрутенами и плетьюми, всеми способами подавлял в ней естественную способность мыслить, искоренял в ней малейшее стремление к свободе, наконец, как бы в припадке последней ярости, двинул ее на стену вооруженных сил Европы.

Мог ли он избежать войны, которая оказалась для него такой позорной? Над этим чрезвычайно тяжелым для решения вопросом Николай задумывался очень часто в последние месяцы, но все как-то недоставало за срочными делами времени, чтобы его обсудить всесторонне, не осуждая себя. Теперь же, когда он заболел гриппом и когда даже сам Мандт почтительнейше предписал ему несколько дней не выходить из стен дворца, время как будто нашлось.

Кашляя и принимая чудотворные мандтовские лекарства, он, конечно, не переставал заниматься всеми текущими государственными делами, писать письма и нетерпеливо ожидать штурма Евпатории; но оставались все-таки долгие часы, проводимые в одиноких думах главным образом о самом сильном среди объединившихся врагов его, о Наполеоне III.

Он припомнил несколько случаев, когда этот удачливый авантюрист то стремился приехать в Россию, то искал возможности втереться к нему, русскому монарху, в друзья. Еще в 1840 году, когда удалось ему бежать из крепости Гам в Англию, он обращался к русскому посланнику в Лондоне, князю Ливену, прося его ходатайствовать о разрешении ему приехать в Россию. Об этом начала было хлопотать княгиня Ливен через своего брата Бенкендорфа... Как же отозвался тогда на это он, Николай? Он отказал наотрез. Он предписал даже посольствам русским не визировать паспортов Луи-Наполеона на проезд в Россию, наконец пограничному начальству приказал задержать его, если бы он пытался проникнуть в Россию, обойдя посольства, и непременно отправить его вон из пределов империи.

Лет через семь, незадолго до избрания его в президенты, Луи-Наполеон снова возмечтал о приезде в Россию, о чем писал графу Орлову. Через Орлова же он предлагал ему, Николаю, за дешевую цену свою картинную галерею, доставшуюся ему от его деда

кардинала. Он всячески выхвалял достоинства художников, картины которых предлагал, и самые картины. Он, конечно, нуждался тогда в деньгах. Его расположение можно бы было купить тогда незначительной суммой. Что же приказал тогда он, Николай, Орлову ответить принцу Луи? Николай припомнил этот ответ в окончательной редакции. Ответ был сух и немногословен: приезд считался нежелательным — в картинах не было надобности.

Наконец, в конце 1852 года принц Луи объявлен был императором Франции. И вот в первые же дни, упиваясь властью, к которой столько лет стремился, он обращается к русскому посланнику Киселеву с заявлением, что желал бы быть в дружбе с Россией, что эта дружба была бы для него и Франции гораздо более приемлема, чем дружба с Англией, что он хотел бы знать об этом мнение русского царя. От Киселева явился тогда с этим предложением дружбы Наполеона чиновник посольства Бартенев. Что ответил тогда на это он, Николай? Он ответил, что не хочет и слышать ни о какой дружбе с узурпатором французского престола.

Ответ этот передан был Наполеону III в выражениях, конечно, смягченных, однако не допускающих двух толкований. Остановило ли это Наполеона в его домогательствах дружбы, то есть союза с Россией? Нет, он повторил свое предложение через того же Киселева, только на этот раз добавил, что в случае, если этот союз не состоится, он вынужден будет заключить союз с Англией. Однако неприязнь к этому выскочке-бонапартисту была так сильна в нем, Николае, что он и на этот раз ответил отказом.

Был даже и такой случай совсем незадолго до столь несчастливой войны — летом 1853 года. Дочь его, Мария Николаевна, вдова герцога Лейхтенбергского, который приходился двоюродным братом Наполеону III, жила тогда за границей, и Наполеон, ссылаясь на свое родство с нею, приглашал ее в Париж. Он уверял ее, что она будет принята им и императрицей Евгенией со всеми почестями, на которые может рассчитывать она как дочь русского императора, что Париж превзойдет себя в устройстве всевозможных увеселений в связи с ее приездом... Словом, он снова хотел сблизиться с ним, Николаем, втягивая в свой политический шаг его дочь. Выяснилось потом, что и

сама Мария Николаевна хотела побывать в Париже, но не решалась на это, не испросив позволения отца. И он, Николай, не только запретил ей эту поездку, но приказал даже немедленно вернуться в Петербург. Так последовательно и неуклонно отбрасывал от себя он, Николай, Наполеона III, втиравшегося всячески к нему в друзья.

И вот фельдмаршальский жезл, приготовленный им для Меншикова, лежит празднично: Меншиков не оправдал его надежд... Кроме того, он стар уже, болен, сам просится в отставку, и ужаснее всего то, что его и заменить некем! Огромнейшая страна, восемьдесят миллионов подданных, и нет людей для защиты границ, и куда бы ни захотел вонзиться враг, он везде будет в численном превосходстве, не говоря о лучшем вооружении, потому что он при помощи пара владеет пространством, а в России пространство владеет народом и царем, — оно непроходимо, оно бездорожно, оно враждебно.

Николай вспоминал теперь, во время невольного досуга, подаренного ему болезнью, как внезапно похолодел он, когда услышал, что действительный статский советник Политковский, ведавший инвалидным капиталом, присвоил и растранил этот капитал, попросту говоря — украл.

Он похолодел тогда от испуга за то, что у него оказались такие чиновники в генеральских чинах. Он был близок тогда, при своей впечатлительности, к обмороку от ужаса за судьбу свою, своей семьи, всей России... Он представил тогда, что все русские финансы разворовываются не исподволь, а вдруг, как по взмаху какой-то волшебной палочки, русскими чиновниками, с одной стороны, и русскими военными чинами — с другой. По полтора миллиона присваивают действительные статские, генерал-майоры, контр-адмиралы; высшие чином — соответственно большие куши, низшие — меньшие. И вот казна пуста. И где же тогда искать похищенное, и кто именно будет искать, если у них круговая порука? А государству придет конец.

Казна же теперь, в силу ведущейся войны, пустела и пустела, но как возможно было учесть, на дело или без дела, куда и сколько по рубрикам шли деньги? Не являлась ли эта война, как, впрочем, и всякая другая, только средством наживы для тех, кто не только не

рисковал жизнью, но даже и всячески оберегал свое здоровье?

Враги чудились повсюду: на всех границах, как и в столице, здесь, рядом; на всех дорогах, ведущих к Севастополю, как и в самом Севастополе; в Крыму, как и в Москве; в Рязани, как и в Казани; в Твери, как и в Торжке...

Кабинет царя в Зимнем дворце, — который был в то же время и его спальней, — убранный очень просто, с печью, греющей очень плохо, находился в нижнем этаже, с так называемого Салтыковского подъезда. Рядом с кабинетом была комната царского камердинера Гримма. И вот по ночам стал просыпаться и вскакивать старый Гримм от пения, шедшего из кабинета царя.

Угнетаемый тысячью тяжелых опасений за будущее свое, своей семьи и государства, которым он правил самодержавно, опасений, развивавшихся в нем со страшной силой благодаря уединению и болезни, царь Николай становился ночью на колени перед образом и пел псалмы Давида. Особенно часто и особенно выразительно звучал этот псалом:

«Господи, чтося умножися стужающие ми? Мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей: несть спасения ему в бозе его! Ты же, господи, заступник мой еси и слава моя и возносяй главу мою!..»

Давид был тоже царь, и если он, псалмопевец, действительно пел, молясь, именно так, как это записано в псалтири, то, конечно, ничего не было зазорного и в том, что русский царь Николай пел по ночам те же псалмы.

Однако, передавая по утрам об этом Мандту, Гримм растревоженно добавлял, что голос царственного певца был настолько замогильно свят, как будто ему, недостойному камердинеру Гримму, удалось слушать самого царя

Давида.

Иногда же царь просто надломленно плакал, отложив в сторону псалтирь.

Всем во дворце бросалось в глаза, что за несколько дней легкой сравнительно болезни он очень похудел, постарел, даже поседел весьма заметно. Маленьким внукам его приказано было молиться о его здоровье, и, поглядывая один на другого, а также на старших, они в

дворцовой церкви, стоя на коленях, старательно стучали головенками в холодный пол.

### III

В ночь с четвертого на пятое февраля, когда там, в Крыму, под Евпаторией, стягивались войска, готовясь к штурму, Николай почувствовал, что ему трудно дышать. Мандт прибегнул к помощи слуховой трубки и определил, что нижняя доля правого легкого поражена гриппом, а верхняя доля левого легкого действует слабо.

Это обеспокоило его гораздо больше, чем пение по ночам псалмов Давида, и он просил назначить ему в помощь другого врача. Консультантом к нему был назначен лейб-медик Карелль, который обычно сопровождал царя в его путешествиях за последние годы.

Хромой, с совершенно голой яйцевидной головой, с загнутым острым орлиным носом и запавшими, глядящими исподлобья, но весьма волевыми глазами, Мандт казался придворным дамам настоящим Мефистофелем; они признавали даже в нем большую магнетическую силу, чем и объясняли его влияние на царя.

Его заботливости и его таинственным крупинкам приписано было и то, что Николай дня через два почувствовал себя почти совершенно здоровым и начал даже говеть и поститься, так как наступила первая неделя великого поста. Правда, Мандт был решительно против этого, но тут уж он ничего сделать не мог при всем своем магнетизме.

Девятого февраля Николай позволил себе не только отстоять обедню в дворцовой церкви, но даже и отправился после того в манеж Инженерного замка на смотр маршевых батальонов лейб-гвардии Измайловского полка, направлявшихся на фронт. Было холодно: двадцать три градуса мороза; гриппозный кашель отнюдь не покинул царя; понятно, что его решение ехать на смотр привело в ужас и Мандта, и Карелля, и наследника, и Гримма... Оседланная для Николая верховая лошадь стояла уже у подъезда. Был час пополудни. Снег сильно скрипел под ногами; деревья были в густом инее; солнце казалось багровым шаром, как это часто бывает в морозные дни; густой воздух обжигал легкие даже у совершенно здоровых людей; Николай же был даже и одет легко, как это требовалось для верховой

езды.

Все вокруг царя понимали, что только взвинченная до последнего предела самонадеянность, стоящая очень близко к безумию, может заставить чуть-чуть оправившегося, однако еще часто кашляющего царя ехать на смотр, как на какую-то совершенно неотложную работу, которую если не выполнить — погибнет государство.

— Ваше величество! — испуганно бросился к нему камердинер. — Умоляю вас, ради бога вернитесь в кабинет! Нельзя вам и двух минут дышать таким ледяным воздухом!

— Ты ошибаешься, — мягко сказал ему Николай. — Свежий воздух не может быть вреден для легких.

— Папа! Ведь ты еще болен, а на смотр мог бы ведь поехать и я! — пытался удержать его наследник.

— Во-первых, ты напрасно волнуешься, я уже совершенно здоров, а во-вторых, я слишком засиделся и моцион мне необходим, — отозвался ему отец с оттенком недовольства.

— Ваше величество! Как ваш медик я считаю своим долгом предупредить вас: ваша поездка может принести вам огромный вред! Ваша болезнь... — торопливо заговорил Карелль.

— Послушай, — перебил его, досадливо поморщившись, царь. — А если бы я был простой солдат, ты тоже стал бы меня удерживать?

Карелль ответил:

— Я убежден, что в вашей армии, ваше величество, не найдется ни одного врача, который выпишет бы солдата из госпиталя в таком положении, как вы сейчас, и в такой холод! Это было бы преступлением! И мой долг не просить даже, а настоятельно требовать, чтобы вы не покидали своей комнаты.

— Ну что ж, хорошо, ты, значит, исполнил свой долг, — нахмурился царь, — теперь я исполню свой.

И он, отстраняя всех, пошел к лошади и вскочил на нее привычно легко. Но тут Мандт, хромя и придерживая одною рукой свой плед, которым укрылся от стужи, подобрался поспешно к царскому коню, схватил его за уздечку и почти простонал:

— Я, я отвечаю за вашу жизнь!.. Ваше величество, это самоубийство, что вы хотите ехать!

— Иди прочь! — начальственно крикнул царь, снимая его руку с уздечки и посылая вперед коня шпорой.

Конь пошел с места широкой рысью, бросая назад сжатые копытами комья снега. Это был картинный конь под все еще картинным всадником в высоком гвардейском кивере с белым султаном.

Смотр Николай провел, как всегда, вникая в каждую мелочь строя. Поздравил резервистов с походом, милостиво простился с офицерами. После смотра заезжал к великой княгине Елене Павловне, потом к военному министру Долгорукову, который был болен и сидел дома. Только к вечеру вернулся он во дворец, но вернулся очень продрогший. Ночью его знобило, он почти не спал, но встал рано и отстоял обедню, а к часу дня так же точно верхом, как и накануне, поехал на новый смотр, теперь уже маршевых батальонов гвардейских саперов и полков Преображенского и Семеновского.

В этот день он вернулся во дворец гораздо раньше, так как почувствовал себя плохо. Врачи — Мандт, Карелль и Енохин — уложили его в постель, укрыли теплой шинелью... Для каждого из них было очевидно, что болезнь приняла вид гораздо более серьезный.

Одиннадцатого Николай не мог уже встать с постели, а двенадцатого пришла телеграмма, посланная «надежным офицером», флигель-адъютантом Волковым из Екатеринослава о неудачном исходе дела под Евпаторией.

Эта телеграмма сыграла роль бутылки керосина, брошенной в пламя начавшегося пожара. Николай был поражен страшно. Его сопротивляемость болезни упала, и воспаление легких пошло вперед неудержимо быстро.

## Глава восьмая. Новые редуты

### I

Но Севастополь продолжал жить своей напряженной жизнью, независимо от того, удалась или не удалась Хрулеву атака Евпатории и здоровы были или опасно больны сам император всероссийский — Николай и его «лицо» — князь Меншиков.

Форпост России на крайнем юге, приковавший к себе внимание Европы, Севастополь окреп, оцетинился и стоял неразрешимой загадкой, перед которой в недоумении были крупнейшие военные умы многих стран, имевших большие армии.

Для всех ясно было только одно, что даже бывший адъютант и ученик Веллингтона, маршал королевских войск Раглан, отправляясь в Крым, забыл золотое правило своего учителя: «Не узнав силы противника, не начинай военных действий».

И если английский парламент отправил в Крым ревизионную комиссию, чтобы выяснить причины неуспешных действий и больших потерь своей армии, то и Наполеон III послал своего личного адъютанта генерала Ниэля, которому должны были дать отчет в своих делах оба главнокомандующие союзных армий, так много уже стоивших и Франции и Англии и все-таки не добившихся никаких результатов.

Английская комиссия нашла много нераспорядительности, упущений, бесхозяйственности в снабжении армии самым необходимым, в результате чего несколько лиц было смещено, генерал-инженер сэр Бургоин отозван, и «Таймс» писала:

«Мы ожидали легких побед, а нашли сопротивление, превосходящее упорством все, доселе известное в истории, и были свидетелями внезапного сосредоточения огромных сил, которое принудило нас искать спасения не в хладнокровных и хорошо обдуманных действиях, но в романической храбрости. Это не должно больше повторяться».

Раглан все-таки был оставлен на своем посту: Англия не имела никого для его замены, тем более что явились большие трудности в отправке пополнений для армии. Приходилось отовсюду снимать гарнизоны и замещать их наскоро набранной в Швейцарии милицией. Между тем армия в Крыму дошла до того, что с передовых позиций на Сапун-горе пришлось снять дивизию генерала Эванса и заменить ее дивизией французов.

Превосходя почти втрое по численности армию англичан, французская армия по праву заняла первое место среди союзных сил, и генерал Ниэль встретил полную предупредительность в маршале Раглане, раскрывшем перед ним все свои карты.

Ниэль был участником взятия Бомарзунда — русской крепости на Балтийском море, но он увидел, что Севастополь далеко не Бомарзунд. Весьма знающий военный инженер, он очень тщательно ознакомился с укреплениями русских и осадными работами союзников и при всем своем желании послать Наполеону донесение, полное надежд на скорый конец осады, не мог этого сделать. Напротив, он донес, что Севастополь может считаться крепостью неприступной, пока он не обложен со всех сторон.

«Никогда, — писал он, — не предпринималась осада при более неблагоприятных условиях!..» Перечислив все эти условия, Ниэль признал необходимым бросить прежний план и вести главную атаку не на четвертый бастион, а на Малахов курган, как такой пункт, с которого союзники могут уничтожить и русский флот, и город, и, что важнее всего, неистощимые русские арсеналы.

Ниэль был командирован Наполеоном затем, чтобы «возбудить в стане осаждающих новые идеи». Вести атаку на Малахов и было этой новой идеей.

Но ее нужно было скрыть от осажденных, поэтому в январе работы против четвертого бастиона продолжали еще вестись открыто, а против Малахова втихомолку, и французы всячески старались внушить Меншикову и Остен-Сакену, что готовятся штурмовать город со стороны четвертого бастиона, а чтобы подкрепить действия сухопутных войск, собирают и продвигают ко входу в бухту свой флот. Действительно, пятьдесят судов союзного флота, из них восемнадцать больших линейных кораблей, выстроились в начале февраля (старого стиля) хотя и вне огня фортов, но явно готовые возобновить атаку, не удавшуюся 5/17 октября.

В то время как Николай ждал результатов нападения на Евпаторию, Меншиков уже знал их, и они его не только не взволновали, не огорчили, но даже обрадовали, насколько он мог чему-нибудь радоваться, одолеваемый своим циститом. Он мог теперь рассчитывать и на 8-ю дивизию Урусова и на Азовский полк для гораздо более важного дела — встречи штурма интервентов.

Больше всего озабочен был он тем, что не может противопоставить союзной эскадре того же, что было в его руках 5 октября. Многие

орудия с фортов были сняты и отправлены на бастионы, сняты были орудия и с кораблей; только на пяти из них оставались еще пушки, и то с одного только борта. А самое главное — вход в бухту был теперь совершенно свободен.

Буря 2/14 ноября начала раскачивать и растаскивать затопленные в фарватере Большого рейда суда, а другие штормы dokonчили это дело, и теперь вход на рейд был совершенно свободен, и неприятельские пароходы, — а их почти три десятка стояло полукругом на якоре, — в любое время могли ворваться даже и в Южную бухту, разгромить все тылы обороны и сделать невозможной дальнейшую защиту города.

Седьмого февраля Меншиков, донося о своих опасениях царю, писал: «Положение это так опасно, что я должен был решиться действовать против воли вашего императорского величества и потопить еще три корабля, на которых ныне нет вооружения и из которых все дельное выбрано».

Правда, эти корабли, назначенные к затоплению, — «Двенадцать апостолов», «Ростислав» и «Святослав», — не были еще потоплены, когда писал Меншиков; зато несколькими днями позже, когда похороны их состоялись, к ним были прибавлены еще два фрегата — «Месемврия» и «Кагул».

В то же время Тотлебену удалось разгадать «новую идею» Ниэля, — сгущение туч над Малаховым курганом. Ключ к этой разгадке дала ему установка французами двух батарей в бывшей английской траншее у Килен-балки, против Малахова. В той стороне подымался курган; он был значительно выше Малахова и у русских носил название «Кривой Пятки», французы же окрестили его «Зеленым Холмом» (Mamelon vert). Была ясна цель французов — подобраться траншеями к этому кургану, занять его, установить на нем сильные батареи и под их прикрытием подвигаться ходами в земле к Малахову, чтобы в удобный момент захватить штурмом его, а потом и город.

Кривая Пятка, правда, давно уже мозолила глаза не только Тотлебену и Меншикову, но и самому Николаю, который из Петербурга давал советы ее занять и отсюда вести контратаки, чтобы постепенно отжать интервентов от Севастополя и выжить их совсем из Крыма. Но давать

советы было гораздо легче, чем их исполнить.

Меншиков на это или отмалчивался, или ссылался на недостаток войск, так как такой прием защиты слишком растягивал и без того длинную линию обороны. На охране линии стояло тридцать тысяч человек пехоты. Из них на земляные работы ежедневно назначалась третья часть, а другая треть — на очень трудную сторожевую службу, так что солдаты отдыхали только через два дня на третий и были крайне изнурены, а это помогало развиваться болезням.

Начальник гарнизона Остен-Сакен засыпал начальника штаба Меншикова генерала Семякина требованиями подкреплений, а 7 февраля писал в своем «отношении», что гарнизон находится накануне полного истощения сил и что он сам, если не получит подкрепления, сложит с себя ответственность за судьбу Севастополя.

Как раз в это время добрался до Севастополя флигель-адъютант Левашев, посланный в конце января царем с требованием выдвинуть непременно вперед укрепления, атаковать ослабленного зимними бедствиями неприятеля, разбить его и опрокинуть в море.

Отправляя Левашева, Николай приказал ему повторить дословно все требования, какие он должен был передать Меншикову. Левашев повторил. Николай, подумав, добавил кое-что еще и заставил своего флигель-адъютанта повторить все снова. Левашев это сделал.

— Ну вот, теперь с богом, — сказал Николай.

Левашев пошел было из кабинета, но, не дойдя до дверей, остановился.

— Ты что? — грозно спросил его царь.

— Ваше величество, а если бы князь Меншиков почему-либо нашел невозможным выполнить вашу волю, то следует ли мне просить разрешения главнокомандующего о возвращении в Петербург для доклада об этом? — ответил Левашев вопросом.

Николай с полминуты смотрел на него уничтожающе гневно, наконец проговорил с усилием:

— Высочайшие повеления русского императора не могут быть не исполнены его подданными!.. С богом!

Меншиков, выслушав Левашева, сделал было свою обычную гримасу, но сказал, что это вопрос уже им решенный: обстоятельства

складывались так, что теперь идти навстречу французам, взбодренным Ниэлем, приказывала уже не царская власть, а прямая и явная опасность нападения.

## II

Был в армии Меншикова очень скромный человек, хотя и в генеральском уже чине, — Александр Петрович Хрущов.

Когда разбитая на Алме армия отступала, он со своим Волынским полком прикрывал отступление, а с переходом интервентов на Южную сторону он был в авангарде. Он же три месяца пробыл со своим полком на самом опасном из бастионов, на четвертом, который обстреливался так яростно, что иногда за одну ночь разрывалось на его тесной площадке более семисот бомб.

Огромное большинство растений любит яркий солнечный свет; много среди цветов и таких, которые поворачивают свои головки к солнцу по мере прохождения его по небу, но есть и тенелюбивые. Хрущов тоже любил оставаться в тени. Он никогда не признавал за собою каких-нибудь особенных военных способностей, не напрашивался ни на какие подвиги, но в то же время и не отказывался ни от каких поручений, только просил дать ему время осмотреться, чтобы решить, как действовать.

Ничего вышколенно бравого не было и в его фигуре: ни роста, ни дородства, ни осанки. Грудь он не выпячивал; напротив, был даже непоправимо сутул. Командирским зыком, звонким и гулким, он тоже не обладал, и к своему чину генерал-майора добрел уже здесь, в Севастополе, с сединою в висках и небольших обвисших усах, как будто даже лишних на его круглом и кротком, благообразно бабьем лице.

Случаев как-нибудь выпукло выдвинуться ему не давало начальство, не предоставляла судьба; но все-таки было замечено, что, когда бы он ни командовал отдельною частью в боях, эта часть держалась надежно стойко и поражений не знала.

Вот он-то и получил назначение в ночь с 9/21 на 10/22 февраля устроить редут впереди Малахова кургана, на склоне Сапун-горы.

Вечером там уже побывал Тотлебен и под защитой секрета пластунов

произвел разбивку укрепления на батальон пехоты и шестнадцать орудий, оставалось только вырыть траншеи, укрепить их, установить орудия, вынести вперед ложементы и посадить в них стрелков — задача довольно простая, если бы решать ее не приходилось в восьмистах метрах от передовой линии французов.

Барон Сакен, понимая всю важность и трудность дела, возложенного на Хрущова, преодолел все препятствия и добрался до второго бастиона, чтобы благословить его и полковника Сабашинского, командира Селенгинского полка, назначенного под команду Хрущова для производства работ. В прикрытие селенгинцам шел Волынский полк.

Хрущов повел свои два полка тем же самым маршрутом, каким Соймонов вел отряд на Инкерманский бой, — через Килен-балку по мосту и по Саперной дороге. Наступившая ночь была довольно темна, чтобы французские пикеты могли различить движение бригады русской пехоты, но все же не настолько темна, чтобы мешать работе селенгинцев; и когда полки дошли, куда было назначено, работа началась дружно, так как заранее подвезены были кирки, лопаты, туры.

Тотлебен, который был тут же, сам расставлял людей на линии в двести пятьдесят метров. Работали в шереножном строю, положив винтовки около себя на случай внезапного нападения. Каменистый грунт под ударами кирок давал искры; без сильного стука нельзя было разбивать известковый крепкий камень, и все опасались, что искры увидят, а стук услышат французы. Однако залегшие в секретах далеко впереди пластуны, а за ними ближе к работающим селенгинцам рассыпавшаяся в цепь рота волынцев сигнальных выстрелов не давали. Ложементы же на четыре отделения штуцерников, по двадцать пять человек в каждом, копали волынцы саперными лопатками. Три парохода — «Владимир», «Херсонес» и «Громоносец» — были поставлены Нахимовым перед Килен-бухтой, чтобы поддержать Хрущова в случае атаки французов.

Но прошла ночь, наступило утро, и перед изумленными глазами союзников встала линия свежей насыпи, пока еще низкой и маловнушительной, однако укрепленной уже турами, набитыми

землей. Орудий, правда, не было еще, — их нельзя было поставить, — но стрелки сидели уже в ложементах и на выстрелы французов отвечали таким метким огнем, что те первые прекратили перестрелку. Ниэль мог убедиться, что «новая идея» его была очень быстро разгадана русскими. Вместе с Канробером явился он познакомиться с их контрапрошными работами на Инкерманском плато, и Канробер обещал ему немедленно атаковать русских. Это было 11/23 февраля, а между тем работы по устройству редута не прекращались ни днем 10-го, ни в ночь на 11-е число, — траншея углублялась, насыпь росла, штуцерники в ложементах и пластуны вели перестрелку с французскими «головорезами». На незначительные потери при этом не обращали внимания селенгинцы, работавшие сменными батальонами над редутом, который получил имя их полка, но со стороны французов готовились уже силы, которым приказано было Канробером уничтожить и этот редут и русский отряд, который будет его защищать.

Генерал Боске назначен был составить и подготовить сборный из разных полков отряд, начальник дивизии генерал Мейран был выбран в руководители атаки, генерал Моне поставлен был во главе атакующих.

В сборном отряде французов были и зуавы, и моряки, и батальоны пехотных и линейных полков, и, наконец, охотники, вызванные из всех частей французской армии, а в резерве стояла английская дивизия и несколько сот рабочих, которые должны были повернуть траншеи в сторону русских.

Делу этому придавалось у союзников большое значение, так как в случае удачи оно значительно сокращало намеченный ими вначале путь к овладению Малаховым курганом.

### III

Небо было чистое, звездное, и поднялась молодая луна — первая четверть, когда тот же Селенгинский полк — три батальона — пришел в третий раз на свою ночную работу, а Волынский — в прикрытии ему. Кивая на очень яркую Венеру, сиявшую в близком соседстве с луною, полковник Сабашинский, балагур и сочинитель нескольких солдатских

песен фривольного содержания, говорил Хрущову:

— Извольте полюбоваться, Александр Петрович, на этот турецкий ландшафт! Под таким знаменем Востока как бы не явились к нам защитники Магомета, а?

Хрущов пригляделся к небу, потом к дальним склонам Сапун-горы и очень отчетливым очертаниям Кривой Пятки и сказал вместо ответа:

— Наблюдайте, чтобы ружья у ваших солдат были под рукою и чтобы, — чуть только секреты откроют пальбу, — в ружье! А для бастиона и пароходов зажжем фалшфейер.

— Но все-таки, как вы думаете, будет в эту ночь атака?

— Ночь ничего, подходящая, если днем подготовились, — отозвался Хрущов и отошел от Сабашинского к левому флангу прикрытия, на котором ждал нападения, так как этот фланг примыкал к длинному оврагу — Троицкой балке, впадавшей в Килен-балку; обе эти балки были очень таинственны теперь, ночью, и могли прятать авангардные части союзников значительной силы. Необходимо было усилить секреты в этой стороне, чтобы при неожиданно быстром нападении они не были смяты и лишены возможности открыть стрельбу. Кроме того, с этой стороны можно было опасаться и обхода, если не теперь, когда для этого слишком светло, то позже, когда зайдет луна.

За общее расположение Волынского полка Хрущов был спокоен. Один батальон — четвертый — стоял в ротных колоннах по линии ложементов, и от каждой роты по одному взводу было рассыпано в цепь; остальные три батальона — в резерве. Но секреты, в которых было всего только тридцать человек пластунов при старом, шестидесятилетнем есауле Даниленке, казались ему именно теперь, в эту ночь, слишком редкой завесой, сквозь которую при бурном натиске легко могли прорваться лавины нападающих; кстати, отзыв, данный на 12 февраля, был «натиск», а зуавы отличались известной уже ему быстротою действий.

Волынский полк был неполного состава, Селенгинский тоже; в обоих полках можно было насчитать около четырех с половиной тысяч человек, и Хрущов не один раз задавал себе вопрос: «А что, если атакующих будет семь-восемь тысяч?» И отвечал на него: «Пожалуй, могут смять тогда, — разве что поможет орудийный обстрел с

пароходов!»

Он знал, что у противника нет близко орудий, но разве не могут они подвезти себе на подмогу легкие горные пушки, обмотав, например, их колеса парусиной, чтобы не гремели, как это сделал в одной своей вылазке мичман Титов? Пушки же эти могут не столько наделать вреда, сколько подействовать устрашающе на русских солдат, заставят их, может быть, попятиться, а ночью это гораздо опаснее, чем днем, — труднее привести ряды в порядок.

В полночь, когда только один рог уходившей уже за горизонт луны вонзился в небо, как огромный кабаньей клык, Хрущов послал своего ординарца-прапорщика проверить аванпосты.

— Ну, что там? Ничего не замечают секреты? — спросил он ординарца, когда тот вернулся.

— Движения противника не обнаружено, — ответил ординарец, его воспитанник Маклаков.

— Ты есаула видел?

— Так точно, ваше превосходительство.

— Что же он говорит?

— Говорит: «Нэма ни чертова батька та мабудь я не будэ».

— А он не того, не выпивши? Ты не заметил?

— Никак нет, — безусловно трезвый.

Хрущов огляделся, как это было у него в обыкновении, и сказал спокойно:

— Посмотрим, что будет, когда стемнеет... — и добавил: — Если ничего не видно, то, может быть, что-нибудь слышно со стороны неприятеля, а?

— Со слов пластунов там будто бы тоже идет работа в траншеях, как и у нас, ваше превосходительство... Точнее говоря, шла работа, а теперь что-то тихо, — доложил прапорщик.

— Ага! Вот видишь! А это-то и очень важно мне знать. Значит, копали-копали и вдруг перестали? Почему же перестали?

— Не могу знать, почему именно перестали.

— Потому что в траншеи стали набиваться войска, приготовленные для атаки, — вот почему! Атака непременно будет и, пожалуй, скоро... Луна зашла, набегают облака, скоро будет темно, и вот тогда-то они

двинутся... Ну, дай бог успеха! Передай от моего имени полковнику Сабашинскому, чтобы ждал атаки непременно.

Прапорщик почти бегом пустился к селенгинцам, а сам Хрущов направился к людям, приставленным к фалшфейеру, чтобы убедиться, все ли там в порядке и не будет ли задержки в необходимый момент.

Горнист на случай вызова резерва был неотлучно при нем. Это был видный детина из старослужащих. Хрущов осведомился, как его фамилия. Он оказался Павлов Семен.

Еще раз через полчаса справился Хрущов, не слышно ли чего в траншеях французов. Секреты дали знать, что тихо.

Зато довольно шумно шла работа у селенгинцев, да в каменистом грунте и нельзя было работать под сурдинку, тем более что исподволь стало совсем темно, в двух шагах и на открытом месте ничего не было видно, не только в траншее, и там, в тесноте, рабочие поневоле задевали один другого, иногда ругались, иногда смеялись чьему-нибудь острому словцу.

Время подходило уже к двум часам. Ночь холодела, темнота становилась гуще. Даже зоркие глаза пластунов отказывались различить что-нибудь перед собою, однако ухо ловило какой-то невнятный гул, когда припадало к земле.

Гул, впрочем, был настолько неопределенный, что поднимать тревогу казалось преждевременным. Его слышал и старый есаул Даниленко, но пока он раздумывал о нем, отдаленный гул как-то внезапно перешел в очень близкий топот множества ног, и вот уже оттуда, из темноты, кто-то наскочил на него, сидевшего на земле, и упал грузно.

— Палыть-палыть, хлопцы! Враг идэ! — успел крикнуть Даниленко.

Но уже справа и слева бежали. А крик: «Палыть-палыть! Враг идэ!» — пошел гулять от бегущих пластунов к волынцам, лежавшим в цепи, пока, наконец, кто-то из волынцев не выстрелил.

Тогда захлопали выстрелы с разных сторон, и огненный снап фалшфейера дал знать на пароходы и на Корниловский и второй бастионы, что началась атака.

Атака же была стремительна. Генерал Моне шел во главе пяти батальонов отборнейших солдат: зуавов, моряков, венсенских стрелков.

Эти батальоны и при своем беге по очень пересеченной местности между своими траншеями и русскими ложементами соблюдали тот порядок, какой им дал еще в одиннадцать часов вечера Боске: два батальона зуавов разместились на флангах, моряки — в центре, венсенские стрелки — в резерве. Генерал Мейран был при английской дивизии, шедшей за стрелками.

Вполне удалось французам благодаря темноте ночи подойти незамеченно к цепи волынцев. Удар их был дружный. Ротные колонны, расстроенные бежавшей цепью, попятились. Встречные выстрелы были нестройны.

— Братцы, не выдавайте! — кричал Хрущов, не столько видя, сколько ощущая всем телом, что мимо него, пятась поспешно, отступают перед противником — вот-вот побегут его волынцы. — Горнист, труби резерву!

Павлов Семен повернул свой рожок в сторону резервных батальонов, но только что успел оттрубить призыв, как увидел перед своим генералом офицера-зуава с поднятой саблей. Он увидел его потому, что в этот момент пролетело вверху, над головой, светящееся каленое ядро, пущенное с одного из бастионов.

Ничего не было в руках у Павлова, — только рожок, — этим рожком он и ударил зуава по руке, в которой блеснула сабля, занесенная над Хрущовым. Тут же поднял он рожок снова и раструбом его ударил зуава по голове, а задержавшийся около своего командира рядовой Белоусов добил его штыком.

Всего несколько мгновений ушло на это. Хрущов даже и не заметил, что был на волос от смерти. Он спешил к левому флангу редута, чтобы туда ввести первый батальон, обезопаситься от обхода.

Темнота, лязг штыков, крики:

— Ребята, сюда-а!

— En avant!

— Урра-а!

Подавшиеся от первого натиска волынцы, поддержанные резервными ротами, ободрились, местами даже пробились вперед. Ружейные выстрелы, освещавшие на момент лица врагов, были редки. Шла штыковая работа — из всех человеческих работ самая ужасная.

Угадать замысел французов было нетрудно, и Хрущов правильно его понял. В то время когда началась атака, он был ближе к правому флангу своего отряда, на который наступала левая колонна французов — зуавы. Но правая колонна их — тоже зуавы с командой охотников впереди — имела задачей захватить левый фас редута и обойти русских со стороны Троицкой балки, в которой, между прочим, расположены были и палатки хрущовского отряда, стоявшего здесь бивуаком. Если бы удалось это французам, разгром русских был бы полный, тем более что силы союзного отряда были достаточно велики, превосходя в общем силы Хрущова тысячи на две штыков.

Но в темноте ночи определить эти силы невозможно было, так же как и генерал Моне не знал точно сил своего противника. В самый разгар боя он был ранен случайной пулей, а вслед за ним командир зуавов полковник Клер, тоже раненый, был отправлен в тыл.

Однако тыл стал небезопасен после того, как русские батареи и пароходы благодаря светящимся ядрам уяснили себе, где резервы противника. Поднялась оживленнейшая артиллерийская пальба, особенно действительная с трех пароходов, стоящих в Килен-бухте.

У французов не было орудий. Но уверенность атакующих в успехе была так велика, что они неудержимо лезли на редут, казавшийся им издали, днем, какою-то ребячьей забавой. Это было их ошибкой. Редут был как редут, со рвом впереди, с бруствером, хотя и не очень высоким, однако одетым уже фашинами, а селенгинцы на этом бруствере выставили навстречу гостям штыки, и первым попал на штык командир роты охотников.

Здесь, у цели атаки, была и самая оживленная схватка. На правый фас редута напирали дюжие моряки. Батальон волынцев, приведенный сюда самим Хрущовым, поддерживал здесь селенгинцев, хватавшихся за кирки, если не находили в темноте и суматохе своих ружей.

Хриплые крики борьбы, жесткие звуки удара железа о железо, стоны раненых, хлопанье выстрелов здесь и там, визг ядер и бомб, пролетающих вверху, надсадно звонкие команды, призывы на помощь — и все это в темноте, и все это тянулось около часу... Одних тащили за шиворот в плен, других, раненых, уносили в тыл, убитых топтали,

спотыкаясь о них, как о мешки с землею, падая и ругаясь злобно...

Наконец, от редута отхлынули французы. Лихой полковник Сабашинский послал донести Хрущову, что неприятель отбит.

— Отбит? Тогда пусть бьют «сбор», — отозвался Хрущов, и барабанщики один за другим, как петухи на заре, ударили сбор в разных концах поля сражения, а через несколько минут, штыки наперевес, плотным каре пошли в атаку волынцы.

Батальоны венсенских стрелков, спешившие на помощь зуавам и морякам, были опрокинуты после короткой схватки. Даже разгоряченные борьбой две-три роты волынцев заскочили было им в тыл; стрелки бежали.

Почти до самых их траншей провожал французов Хрущов с волынцами. Роли могли бы перемениться: только что атаковавшие могли быть атакованы сами, но в расположении французов рвались русские снаряды, и дальше идти было нельзя. Горнист Павлов Семен протрубил отбой.

Шел только четвертый час: темнота оставалась прежней. Отведя своих к редуту, Хрущов выстроил их снова в боевой порядок. Осторожный и осмотрительный, он ожидал повторной атаки, но поражение французов было полное, они понесли большой урон и не только не отважились на новую атаку, даже не открывали стрельбу и утром.

Рассвело, и можно уж стало подсчитать своих убитых и раненых и чужих убитых. Около редута насчитали свыше ста тел французов, из них десять офицеров. Радовались, что убитых русских было гораздо меньше.

Так был окроплен первою кровью первый редут на подступах к Малахову кургану.

Меншиков, сколь ни чувствовал себя плохо, все-таки вышел из своей хижины и наблюдал этот ночной бой, насколько можно было разглядеть в темноте с Северной стороны вспышки ружейных выстрелов за Малаховым.

— Эх, жарко приходится бедному Хрущову! — время от времени говорил он, обращаясь к Панаеву, который в последнее время был при нем бессменно, сумев оттеснить от него остальных адъютантов.

— А вот, кажется, наши огни вперед пошли, ваша светлость! —

радостно заметил Панаев.

— Неужто вперед? В самом деле, как будто движутся в ту сторону! Гоним, значит?.. Что-то мне все-таки не верится... Подождем до утра. А утром ординарец Хрущева прапорщик Маклаков прискакал с докладом о победе.

Внимательно выслушав доклад, Меншиков сам открыл шкафчик, где у него хранились важные бумаги и прочее, достал оттуда связку георгиевских крестов и, передавая ее Маклакову, сказал:

— Тут двадцать пять штук. Пятнадцать я даю на Волынский полк, десять — на Селенгинский... Поехал бы сам, поздравил бы молодцов, да не могу, слаб, еле по комнате двигаюсь... Болен.

Рядом с Селенгинским редутом только на сто сажен ближе к противнику, вполне беспрепятственно после чувствительной остротки, данной французам, был заложен волынцами свой редут, а через несколько дней Камчатский полк устроил третье укрепление, названное Камчатским люнетом.

На виду противника создать в короткий срок новую мощную линию обороны — это был крупный успех русского оружия в Севастополе, но обрадовать этим успехом царя уже не удалось.

## Глава девятая. Смерть Николая

### I

Полковнику Волкову, который приехал в Петербург вечером 14 февраля, пришлось делать доклад об Евпаторийском деле уже не царю, а наследнику: Николай, только познакомясь с его телеграммой за два дня до того, так упал духом, что совсем перестал говорить о войне, да и все другие заботы по управлению государством передал Александру, а сам умолк, сжался. На своей узкой походной кровати, закутанный в шинель вместо одеяла, то дрожа от озноба, то задыхаясь от кашля, то следя про себя за болями, возникавшими в спине, груди, в боку, он начинал уже понимать, что, пожалуй, все крупинки мандтовских лекарств могут оказаться бессильными перед его болезнью.

Еще в тридцать первом году, когда холера, в первый раз посетившая Россию, косила население и появилась даже в Петербурге, вызвав известные «холерные беспорядки», Николай приготовился было к смерти и наскоро набросал свое духовное завещание. В сорок четвертом году это завещание было им несколько переделано, развито в тридцать с лишком статей, но оно касалось только распределения того имущества, которое он считал своим личным, между всеми членами его семьи. Он очень подробно перечислял все имения, дворцы, дачи, мызы, деревни, которые после его смерти должны были перейти в собственность его жены Александры Федоровны; Аничковский дворец предназначался старшему сыну Александру, а Константину — «все модели, телескопы, рупоры, медальный кабинет и библиотека». Что же касалось царской конюшни, то все четыре сына его должны были поделить ее между собою поровну и по жребию, но при этом и брату царя, Михаилу Павловичу, разрешалось выбрать для себя лошадей по его желанию. Дочерям же завещались только капиталы, однако вывозить их из России права им не давалось, — на это должны были идти только проценты с капиталов...

Завещание это представляло собой довольно объемистую тетрадь. В нем не были обделены разными милостями и чрезвычайно многочисленные царские дворцовые слуги вплоть до старых дворцовых гренадеров; но в нем ни слова не было сказано ни о внутренней, ни о внешней политике.

Казалось бы, что с головой ушедший в заботы о «благее» своих подданных, точно так же как и о благе всей Европы, царь должен был бы передать своему преемнику одушевлявшие его идеи во всей их полноте и доказательности не только для сведения, но и для руководства, однако о них-то и не сказал Николай ни тогда, в сорок четвертом году, ни впоследствии, за десять с лишком лет, когда, без сомнения, представлялось ему много случаев вынуть из заветного шкафа тетрадь и ее дополнить... хотя бы одним только пожеланием своему преемнику раскрепостить крестьян.

Имея полную возможность составить свое завещание как царь, он написал его только как первый по своему богатству русский помещик. Тринадцатое февраля пришлось на воскресенье первой недели

великого поста, а в это воскресенье обычно в церквях совершали обряд «проклятия». Торжественно проклинали вождей народных восстаний — Степана Разина и Емельяна Пугачева — и пели «вечную память» умершим царям.

Но... бывают же иногда такие фатальные ошибки! В Казанском соборе служил обедню митрополит, а лаврский иеродиакон Герман, обладатель единственного в своем роде громоподобного голоса, провозглашал перед амвоном «анафему» и «вечную память».

И то и другое должно было потрясать сердца молящихся. Но вот, — привычка ли тут сказалась, или усталость, или временная рассеянность, — только, втянув воловью шею в жирные плечи насколько мог, багровый от натуги, проревел Герман:

— Благочестивейшему, самодержавнейшему и великому государю нашему Николаю Павловичу вее-ечная п-а-а-а...

Он опомнился, правда, испуганно оборвал свой рев, но певчие на хорах подхватили его и грянули:

— Вечная па-амять!

Митрополит с амвона махал им руками и кричал:

— Многая лета! Многая лета!

Публика в церкви переглядывалась в недоумении. Произошло общее замешательство. Одни из певчих начинали «Многая лета», в то время как другие заканчивали «Вечную память».

Только через несколько дней немногодумный иеродиакон понял, что на него снизошел в этот момент дар пророчества; пока же пришлось ему достаточно претерпеть за этот так некстати свалившийся на его голову дар от разъяренного митрополита.

Пятнадцатого февраля утром Николай начал отхаркивать кровь. Это его испугало.

— Не каверны ли открылись у меня в легких? — спросил он у Мандта.

Тот слушал его, но сосредоточенно молчал.

— Что же сказала тебе твоя трубка?.. Каверны? — упавшим голосом повторил Николай.

— Нет, ваше величество, это — не каверны... Это несколько хуже, чем каверны, — решился, наконец, ответить Мандт.

— Еще хуже?.. Что же может быть хуже этой гадости?

— Хуже каверн — паралич легких, ваше величество.

— А он... уже есть? — тихо спросил Николай.

— Пока его нет, и будем надеяться, что не будет, — пробормотал Мандт.

Между тем внимательно следивший за ним огромными на исхудалом лице глазами Николай замечал и в то же время боялся заметить, что он старается скрыть от него какую-то злую правду.

Шестнадцатого февраля второй сын царя, Константин, ведавший морским министерством, очень встревоженный состоянием отца, под руку с женою, в сильный мороз и ветер, пешком отправился из дворца к вечерне в Невскую лавру, чтобы там помолиться усердно о «многих летах» для своего родителя.

Он был вообще благонравен и богомолен, однако идти пешком за пять верст в такой холод — это можно было объяснить только порывом отчаянья, которое в подобном «подвиге» искало для себя выхода.

Между тем петербуржцы, за исключением только придворных, ничего не знали о болезни царя: бюллетени не выпускались; болезнь не считалась очень опасной даже лейб-медиками, полагавшимися на сильный организм Николая.

Эти надежды пошатнулись только 17 февраля, когда начались у больного сильные колотия в области сердца и потом сильный жар и бред. Только тогда консультация врачей пришла к выводу, что положение очень опасное, и решилась сказать об этом наследнику, тот передал это матери, — и ожидание близкой уже смерти главы большой семьи, для которой был выстроен Клейнмихелем Зимний дворец, началось. Оно началось с того же, с чего начиналось подобное ожидание смерти в каждой русской помещичьей семье того времени: с заботы о том, чтобы умирающий успел исповедаться и причаститься, перед тем как перейти «в жизнь вечную».

Весьма искусная в частых своих приготовлениях к смерти (для того, впрочем, чтобы еще и еще возвращаться к жизни земной) Александра Федоровна, стараясь не беспокоить умирающего мужа слезами, склонилась к его изголовью.

— Друг мой, — сказала она тихо, — ты начал было говеть, но не мог по болезни закончить и не успел приобщиться святых тайн с нами

вместе... Но ведь ты... мог бы сделать это и теперь... Святые тайны, они ведь лучшее лекарство от всех болезней.

Сказала и ждала ответа, пряча глаза от мужа. Он же поворачивал голову так, чтобы найти эти глаза — глаза той, которая сорок лет была его женою, — этой истощенной, слабой, как тростинка, женщины, которая тем не менее переживала его...

Он понимал это внутренним чутьем, инстинктом, но это не укладывалось в его сознание. Он отбрасывал тайный смысл ее слов, — этот смысл казался слишком страшен, чтобы его принять. И он отозвался ей;

— Да, я хотел бы закончить свое говенье... но это уж сделаю, когда встану на ноги... Как могу я приступить к такому великому таинству, лежа в постели, неодетый?..

Это была уловка искушенного дипломата, когда-то руководившего всею внешней политикой России. Но теперь шел вопрос не о Франции или Англии, не об Австрии или Турции, не о войне, в которой могли бы погибнуть сотни тысяч людей, а о собственной личной жизни, к которой приближалась со своею тривиальной косою смерть.

Он ждал, что именно возразит ему жена, чтобы безошибочно угадать истину по ее первым же словам; однако и ей нетрудно было понять тайный ход его испуганной мысли. Она увидела, что ни одним словом нельзя было настаивать на причастии, чтобы не поразить его, не отнять последней его надежды.

Она отвернулась и стала тихо читать молитву, стараясь движением ресниц стряхнуть слезы. Но молитва эта испугала его; это было похоже на чтение «отходной» по нем.

— Что ты это?.. Зачем? — поднял он голову, не сводя с нее расширенных глаз.

— Молюсь о тебе, — ответила она, боясь повернуть к нему лицо.

— Разве я... А? Что?.. — еле проговорил он задыхаясь.

— Я молюсь, чтобы ты выздоровел, на что я надеюсь, — поспешила сказать она, однако дальше не могла выдержать притворства и поспешно вышла, так и не решившись ничем еще намекнуть умирающему мужу на то, что он умирает, что это неизбежно, что это уже скоро... сутки или даже несколько часов всего...

## II

Первые бюллетени о болезни Николая были отпечатаны поздно вечером 17-го числа, а обнародованы только утром на другой день. Правда, тогда уже выпущено было один за другим три бюллетеня, причем в последнем говорилось, что болезнь опасна, другими словами — неизлечима, смертельна, не оставляет надежд.

Однако во дворце никто из близких к царю лиц не решался взять на себя, после неудачной попытки самой императрицы, смелость объявить об этом умирающему. Вся большая семья царя во главе с наследником Александром, который должен был вот-вот сам стать самодержавным властелином России, или толпилась в придворной церкви, выслушивая на коленях молебствия о здравии, или шушукалась в комнатах, соседних с кабинетом, в котором лежал умирающий, и всех ужасала мысль, что он может умереть без исповеди и причастия.

Наконец, решено было обратиться к тому, кто, казалось бы, имел такое влияние на царя, к человеку мефистофельской внешности — Мандту.

Идя в третьем часу ночи на дежурство к умирающему, он получил записку, писанную по-французски, от одной из придворных дам, графини Блудовой:

«Умоляю вас, не теряйте времени ввиду усиливающейся опасности! Настаивайте непременно на приобщении святых тайн. Вы не знаете, какую придают у нас этому важность и какое ужасное впечатление произвело бы на всех неисполнение этого долга. Вы — иностранец, и вся ответственность падает на вас!..»

Мандт — немец, протестант — обрекался таким образом на трудный подвиг — склонить царя исполнить православный обряд, обычно исполнявшийся перед смертью.

Сменяя своего коллегу Карелля, Мандт спросил его, каков больной.

— Совершенно безнадежен! — тихо по-немецки ответил Карелль.

Мандт был очень испуган и этим приговором Карелля и последней строчкой полученной им записки. Он поспешно принялся слушать царя, но увидел, что Карелль прав, скоро все должно было кончиться.

Он несколько минут сидел пораженный или только желавший показаться таким внимательно глядевшему на него больному, чтобы он понял его без лишних слов. Но умирающий молчал: он не хотел понимать... Пришлось начать говорить, хотя и весьма отдаленно, о цели разговора.

— Когда я сейчас шел сюда, я встретился с одним почтенным человеком, — затрудняясь в подборе фраз, говорил Мандт. — Этот человек просил меня положить к стопам вашего величества изъявление его преданности и пожелание выздороветь...

— Кто такой? — неожиданно громко и недовольно спросил Николай.

— Это... это ваш духовник Бажанов, с которым я очень близок...

— А-а... Я не знал, что ты близок с Бажановым, — пробормотал умирающий, начиная уже предугадывать дальнейшее. — Когда же ты успел с ним так сблизиться?

— О, я познакомился с этим почтенным человеком у смертного одра почившей великой княжны Александры Николаевны... Это было тяжелое время для всех нас... У государыни императрицы мы вспоминали об этом вчера, и... и я мог понять, что ее величеству было бы приятно, если бы вместе с отцом Бажановым она могла бы помолиться около вашей постели об умершей дочери, притом же вознести мольбы и о вашем скором выздоровлении...

Очень окольный путь был избран хитрым Мандтом для того, чтобы дать понять Николаю, что он, хотя и самодержец еще, но умирает. И Николай это понял. Скрестились две пары глаз: выпученные, огромные, почти белые глаза Николая и запавшие, но немигающие мефистофельские глаза его лейб-медика, и Николай спросил, наконец:

— Разве я должен умереть?

Мандт опустил глаза и ответил тихо:

— Да, государь!

Царь повернулся к стене и лежал так несколько минут. Мандт взял его руку в свою и стал считать пульс.

Умирающий снова лег на спину и спросил:

— Как же осмелился ты сказать мне это?

Действительно, осмелиться было бы трудно, но все кругом во дворце

ожидали от Мандта этой смелости, и Мандт ощущал это, как приказ тех, кто имеет силу и власть, в отношении к тому, кто теперь уже совершенно бессилён, хотя ещё и считается царем.

Мандту пришлось так же пространно и сложно, как и раньше, объяснять царю, что во всех отношениях было бы хуже, если бы он не сказал ему этого. что он имеет ещё возможность объявить близким свою последнюю волю и проститься с ними, что в его распоряжении есть ещё для этого несколько часов.

Царь выслушал это с виду спокойно и снова повернулся к стене. Он, который выше всего в жизни ставил строжайшую военную дисциплину и за малейшие проступки против нее наказывал жестоко, теперь видел, что и у смерти, которая шла к нему, есть тоже свои правила дисциплины, которые он, уже сходящий с трона самодержец, обязан выполнить.

Но к подобной мысли все-таки надо было привыкнуть; для этого необходимы были хотя бы десять минут сосредоточенности, молчания... Дышать же было трудно, дышать могла уже только небольшая часть легких. Сильные подагрические боли охватывали пальцы правой ноги, как будто за них брались уже, пробуя, жесткие костлявые руки смерти. Мысли иногда путались, заскакивали одна за другую, терялись...

— Благодарю! — сказал он, наконец. — Позови ко мне моего старшего сына...

### III

Тягостная для всех во дворце неопределенность, полная притом ужаснейших опасений, что умирающий может умереть внезапно, без исповеди и причастия, окончилась, когда наследник вошел в кабинет к отцу. Во дворце, конечно, никто не спал, хотя было только четыре часа утра. Обер-священник Бажанов также ожидал только приказания приступить к церемонии напутствия, в которой он был бы главным действующим лицом, отлично знающим свою роль.

И его позвали, и исповедь царя-деспота в его тяжких грехах началась. Однако обер-священник задавал только привычные свои вопросы, какие задавались всеми вообще священниками их «духовным чадам»

под душным покровом епитрахили. Эти вопросы касались только личной жизни каждого человека, умирал же тот, кто тридцать лет самовластно руководил огромной страной.

Хомяков в своих знаменитых стихах, написанных в начале Восточной войны, вежливо переложил грехи Николая на голову России, обращаясь к ней с укором, возмущившим и правительство и правящие классы:

...А на тебя, увы, как много

Грехов ужасных налегло!

В судах черна неправдой черной

И игом рабства клеймена,

Безбожной лести, лжи тлетворной,

И лени мертвой и позорной,

И всякой мерзости полна!..

О «всякой мерзости», которой полна была жизнь при Николае, не говорил, конечно, придворный духовник, задавая умирающему свои вопросы; исповедь велась в пределах десяти заповедей, и когда она кончилась, Николай, перекрестившись, сказал торжественно:

— Верую, что господь примет меня в свои объятия!

И с этого момента торжественность человека, привыкшего за свою долгую жизнь к тысяче придворных церемоний, приемов, парадов, смотров, подменивших для него простую, естественную жизнь, уже не покидала Николая. Он как будто незримо надел на себя новый мундир, тот мундир, в котором нужно было идти представляться уже не папе в его Ватикан, а богу, в которого он верил. Он старался как можно отчетливей повторять за священником слова передпричастной молитвы. Он даже попытался сползти с кровати, чтобы принять причастие, стоя на коленях, а не лежа...

Выполнив свою роль, покинул кабинет Бажанов, и в это последнее обиталище царя стали входить, чтобы проститься с ним, его семейные. Когда вошла Елена Павловна, Николай сказал ей с подобием улыбки:

— Eh bien, madame Michel{70}, стоп машина!

Как раз в это время ему принесли письмо от сыновей из Севастополя, привезенное курьером.

— А-а!.. Что? Здоровы они? — спросил он и, когда ему ответили, что

здоровы, добавил: — Все прочее меня уже не касается больше... я весь в боге.

От «всего прочего» он уже чувствовал себя оторвавшимся и свободным — от войны, от осажденного Севастополя, от России... Он оставался только в тесном кругу своей семьи.

За большим окном его кабинета свистел ледяной ветер; на столе его лежала неразорвавшаяся английская бомба, из тех, которыми союзный флот осыпал Одессу; на стенах висело несколько батальных картин; темнела икона в серебряном окладе... такая комната могла бы быть у любого штаб-ротмистра. Николай перед смертью точно сознательно забрался в это неуютное и притом холодное убежище, чтобы менее чувствителен был переход к могиле в Петропавловском соборе.

О Петропавловском соборе не забыл Николай перед смертью: он сам определил место там, где хотел бы быть погребенным.

Вели и несли к нему его внуков, детей наследника. Маленький Александр, будущий император, до того испугался вида умирающего деда, что с криком ужаса кинулся вон из кабинета. Его удержали в дверях и едва успокоили.

Но, кроме семьи, были и еще близкие Николаю люди, как граф Адлерберг, граф Орлов, князь Долгоруков... Их тоже приказал призвать к себе умирающий и одному подарил свою чернильницу, другому — свои часы, за то, что он «никогда не опаздывал с докладами», третьему — свой старый портфель для бумаг...

Даже камер-лакеев своих он призвал к себе... Однако уже зимний день смотрел в окно. Жизнь, от которой ему думалось уйти ночью, поднималась перед ним снова, хотя сознание его уже заволакивалось временами.

— Когда же вы меня отпустите? — спросил он недовольно у Мандта.

Мандт не дослышал и не понял вопроса.

— Я хочу сказать, когда это все кончится? — повторил Николай.

— Теперь уже скоро, — ответил Мандт.

— Скоро?.. Тогда... пусть же читают отходную.

Он боялся и в этот момент, что не исполнят чего-нибудь, что полагается по уставу, по закону, по форме исполнить.

Начали читать отходную молитву. Все стали на колени. Наследник держал в своих руках его руки, уже начинавшие холодеть.

В первом часу дня он умер.

#### IV

Тело Николая, в одной рубашке, прикрытое только шинелью серого солдатского сукна, лежало на походной кровати сначала в том же кабинете, потом было перенесено в нижнюю залу дворца.

Когда был открыт к нему доступ населению, все время окружавшему дворец, то в общей давке у дворцовых дверей несколько человек было задушено насмерть, и это сочтено было не столько за результат преступной нераспорядительности полиции и жандармов, сколько за бурное проявление особой любви к покойному царю, готовой сломать все преграды.

Что народ, только после смерти Николая увидевший печатные бюллетени о его болезни, был чрезвычайно изумлен этим и даже заподозрил в этом что-то неладное, было правдой. Ночью какие-то люди, окружив дворец, со слов кучера умершего царя, кричали, что Николая отравили и что отравителем был не кто иной, как Мандт. Шум, поднятый толпою, был настолько угрожающим, что перетрусивший Мандт, который жил во дворце, обратился к новому императору, Александру II, прося спасти его от неминуемой смерти.

Александр распорядился вывезти его из дворца тайно в наемной карете, а через несколько дней злополучный лейб-медик был уже за границей, где года через три и умер.

В первые же дни после смерти деспота-царя возникла и легенда о том, что он покончил самоубийством, не в силах будучи перенести военные неудачи в Крыму, и что именно Мандт дал ему какого-то медленно действующего яду по его же приказу. Потом будто бы, испугавшись смерти, он требовал у того же Мандта противоядия, но в этом творец «атомистической» теории лечения не мог уже ему помочь.

Несомненно, что психика Николая была очень потрясена тем, что он, угрожавший когда-то Франции «миллионом зрителей в серых шинелях», не мог справиться с армией союзников в самой сильной точке русской пограничной линии на юге; не будь такого потрясения,

он, пожалуй, не пел бы по ночам псалмов Давида и не плакал бы в одиночестве в своем кабинете. Не нужно забывать и того, что был он сыном сумасбродного Павла и что все его братья, начиная с Александра, не отличались устойчивым умом.

Но, с другой стороны, положение в Крыму в феврале было далеко не так уж плохо для русской армии. Хуже было тогда союзникам; а затем, Николай все-таки был религиозен и слепо верил в загробную жизнь. Он говорил о себе: «Я не богослов; я верю попросту, по-мужицки», с точки же зрения такой «простой, мужицкой», веры самоубийство считалось великим грехом, и самоубийц запрещено было даже отпевать по православному обряду и хоронить на кладбище.

Что же касается не яда, данного будто бы ему Мандтом, а того, что он, не поправившись от гриппа и вопреки запрещению своих медиков, в двадцатиградусный холод отправился на смотр, как будто с затаенной целью простудиться смертельно, то это может быть истолковано, конечно, и так и иначе, — например, простою переоценкой своих сил.

Во всяком случае можно сказать, что те, кто распространял и поддерживал печатно легенду о самоубийстве Николая, о свободном уходе его из жизни, оказывали только посмертную услугу мрачной тени этого убежденного душителя свободы, подсовывая хотя и невысокий, но все-таки некий пьедестал под его личность, делая его способным ужаснуться той пропасти, в которой оказалась Россия, и казнить себя самого за дикую глупость своей системы правления.

Так или иначе, яростный враг революционных идей, крепко сковавший жандармскими цепями огромную страну, сошел, наконец, со сцены, России же пришлось в наследство пожать то, что упорно и настойчиво насаждалось в течение тридцати лет.

Для этого трудного и горячего времени жатвы, для этой страды, отведена была историей как будто небольшая совсем полоска русской земли, побережье Крыма, всего в два-три десятка километров длиною, в несколько километров шириною; но для России страда эта оказалась действительно временем огромнейшего напряжения, так как война вылилась в позиционную войну — первую в истории России, — и на небольшом клочке земли с той и с другой стороны сосредоточены были огромные силы.

И первое, что сделал новый царь, для того чтобы успешнее проходила севастопольская страда, он, действуя еще как бы от имени своего отца, главнокомандующим Крымской армией на место Меншикова назначил Горчакова, послав светлейшему необходимый всемилостивейший рескрипт.

## Глава десятая. Отставка Меншикова

### I

В сущности отставка Меншикова была уже предрешена тут же после Инкерманского боя, когда главнокомандующий сам в своих письмах к Долгорукову в Петербург и к Горчакову в Кишинев признавал себя неспособным удержать в русских руках не только Севастополь, но даже и Крым.

Три месяца с лишком после Инкермана он как будто только тем и был занят, что дожидался отставки, до того всем била в глаза его бездеятельность при мелочной копотливости и всем резали уши его жалобы на свои болезни и немощи. И все-таки, — велика сила привычки даже и у царей, — к общему изумлению, он, обитавший вдали от войск, никогда не появлявшийся на бастионах, никогда не смотревший ни одну часть, присылающуюся ему в Севастополь, бывший как бы у самого себя под арестом, держался на своем посту — огромнейшем, наиважнейшем, от которого зависела честь России, целостность государства, достоинство армии, длительность войны, стоимость войны людьми и средствами и много всего...

Капитан-лейтенант Стеценко, человек малого роста, но большой серьезности, чем ближе и больше наблюдал Меншикова, как один из его адъютантов, тем яснее видел, что тот попал почему-то совсем не на свое место, хотя в нем и было несколько качеств, без которых немислим главнокомандующий.

Ум? — Был, притом всеми признанный. — Широкий взгляд на вещи? — Был и широкий взгляд на вещи. — Общая образованность? — Была, и большая, вплоть до диплома ветеринара и звания ученого кузнеца, полученного в Германии в молодости. — Знание военного дела? —

Было, притом всестороннее: и пехотного, и кавалерийского, и инженерного, и морского дела. — Умение управлять людьми? — Было несомненно приобретено за очень долгую службу на высоких постах финляндского генерал-губернатора и управляющего морским министерством. — Стратегия? — Да, он был даже и стратегом, несмотря на его неудачи... Казалось бы, что по всем предметам, необходимым для поста главнокомандующего, Меншиков мог бы выдержать экзамен на двенадцать, и все-таки чего-то не хватало в нем, притом самого важного.

Сколько ни думал над ним Стеценко, он все казался ему как-то механически составленным из разнообразных достоинств. Эти достоинства не сплавлялись в нем воедино, не зажигались чем-то неопределимым изнутри, не создавали того, что называется у борцов ловкостью, умением, свойственным телу как-то помимо даже ума сосредоточить все силы вдруг в одном месте и этим приемом внезапно одолеть противника, будь он даже гораздо сильнее физически.

Стеценко не ставил в вину Меншикову его преклонных лет; он был достаточно сведущ в истории и знал многих полководцев, умевших побеждать в том же возрасте, что и Меншиков, и даже в более маститом. Он наблюдал иногда, что светлейший как будто горел той или иной мыслью, но он никогда не воспламенялся ею: он не был романтиком, он не был ни капли поэтом, как не был им и тот, чье лицо представлял он здесь, в Крыму. Его ум был сух, его расчеты слишком математичны. Он не мог никого заразить экстазом победы, потому что всякий экстаз вообще был совершенно чужд его натуре. Но война ведь экстаична по самой природе своей. Как бы ни был хорошо рассчитан и подготовлен бой, иногда слепой и темный, но пламенный порыв противника способен опрокинуть в нем все расчеты.

Стеценко часто и настойчиво думал над тем, почему Меншиков, всегда очень выдержанно любезный и аристократически простой со своими адъютантами, так утомительно непрест со своими ближайшими помощниками, командирами крупных войсковых частей, адмиралами и генералами, находя в них только пищу для своего остроумия, даже сарказма. Пусть они очень плохи на его взгляд, но потрудился ли он хоть сколько-нибудь над тем, чтобы сделать их лучше? Всякий

великий администратор велик прежде всего тем, что умеет подобрать себе талантливых помощников. Сделал ли хоть что-нибудь в этом направлении Меншиков? Решительно ничего, даже и не пытался делать, только брюзжал на всех.

Но может быть, — задавал себе последний вопрос Стеценко, — совсем не обязательно, чтобы главнокомандующий был великим человеком? И отвечал на этот вопрос решительно: нет, в такой исключительный исторический момент, когда на карту поставлены и честь и целостность государства и сотни тысяч жизней его граждан, главнокомандующий не смеет не быть великим человеком! Он выступает на историческую сцену как избранник целого народа, пусть даже народ и не участвовал в его избрании, и потому обязан быть великим, а если этого нет, то великой ошибкой станет его избрание (или назначение, все равно), и огромной ценой заплатит народ за эту свою ошибку.

Положение свое, как адъютанта светлейшего, Стеценко начал считать каким-то межеумочным, если не зазорным даже, так как его товарищи по флоту честно несли боевую службу на бастионах. Правда, он мог бы, как Виллебрандт, когда-нибудь быть послан к царю с донесением о крупной победе русских войск и этим заработать себе чин полковника, как тот же Сколков, но карьеристом Стеценко не был и такой дешевой ценой зарабатывать чины не хотел.

Он знал, что Меншиков просил всех флигель-адъютантов, отправляемых в последнее время из Севастополя, передать царю, что он болен, нуждается в длительном отпуске для лечения ваннами и покоем.

Однако не только ему, но и другим адъютантам светлейшего видно было, что долго так тянуться не может, что это должно чем-то кончиться: или полным выздоровлением князя, или отпуском, который в такое горячее время равносителен смещению с поста главнокомандующего за инвалидность. Ротмистр Грейг уже начал через свою петербургскую родню хлопотать о переходе в адъютанты к великому князю Константину, другие думали все-таки остаться в Севастополе, где больше возможностей быстро выслужиться, но зачислиться адъютантами к преемнику Меншикова.

О том же, что светлейший, как человек больной, не может уже нести

своих обязанностей, открыто говорилось в ставке великих князей, особенно негодовавших на его решение затопить линейные корабли при входе на Большой рейд.

Они говорили возмущенно:

— Если мы сами будем уничтожать свой флот, то этим мы, значит, будем дуть в дудку союзников! Одна из целей войны, нам навязанной, — уничтожение Черноморского флота, и вот не противники наши, а мы сами его топим к их радости! Как будто нельзя просто минировать фарватер Большого рейда и не прибегать к таким варварским мерам, как затопление своих судов.

Но Стеценко слышал и доводы Меншикова против минных заграждений, и в этих доводах была большая доля правды.

Мины для заграждений были двух видов: донные, рассчитанные на то, что их заденут днища неприятельских кораблей и они взорвутся тогда, и мины, соединенные гальваническими проводами с береговыми фортами: взрыв этих мин всецело зависел от бдительности моряков.

Меншиков признавал мины того и другого вида никуда не годными по их качествам, на бдительность моряков не надеялся, говорил, что донные мины будет или срывать штормом, или засасывать илом, и в первом случае они будут опасны для своих судов, во втором — безопасны для судов противника, парусный же флот все равно устарел с появлением парового и винтового и особенной ценности не представляет.

Как ни жаль было моряку Стеценко свой Черноморский флот, но он готов был в спорном вопросе стать на сторону Меншикова, а не великих князей; однако решение затопить суда не приводилось в исполнение несколько дней благодаря противодействию царских сыновей. Категорический приказ о затоплении был отдан светлейшим только 12 февраля, после получения известия об отражении атаки союзников на Селенгинский редут. Приказ этот отвозил Остен-Сакену и Нахимову Стеценко, и 12-го вечером были затоплены «Ростислав», когда-то спасенный от этой злой участи Корниловым, «Святослав», «Двенадцать апостолов» и другие, а 13-го утром сторожевой пароход англичан «Мегера» мог уже любоваться верхушками мачт, подымавшимися из воды, как барьер для союзной эскадры.

Конечно, гибель родных судов от собственных рук и в этот раз была не менее тяжелой картиной для моряков, чем потопление первых семи судов за пять месяцев до этого, в начале осады. И Стеценко был грустно настроен утром 13 февраля, когда случайно встретил, будучи в городе, Дебу.

— Очень рад вас видеть, Ипполит Матвеевич, живым и здоровым! — вполне искренне, хотя и обычной фразой обратился к нему Стеценко.

— Когда же вас произведут, наконец? Я заждался.

— Чем попусту ждать, сделали бы представление, — отшутился Дебу.

— Вот и Бородатов тоже ждал производства на Новый год, — ничего не вышло.

— А между тем представления посланы были в Петербург и о нем и о вас тоже. Не понимаю, почему им не дали ходу... А может быть, просто завалялись где-нибудь.

— Будем надеяться. «Надежды юношей питают», — сказал какой-то поэт... — Улыбнувшись было, Дебу тут же погасил улыбку. — А вы помните Варю Зарубину?

— Ну вот, как же не помнить? А что с ней?

— Заболела, бедняжка, тифом на первом перевязочном.

— Тифом на первом перевязочном? — повторил Стеценко. — Как же она туда попала, не пойму?

— Она там была сестрой милосердия, и вот... Теперь опасно больна. Конечно, организм молодой, должен вынести, а? — спросил Дебу, глядя на Стеценко так, как будто тот, адъютант главнокомандующего, повелевает тифом.

— Я полагал, что Зарубины уехали уж давно куда-нибудь, — сказал Стеценко.

— Еще до начала осады я им это советовал, — не вняли доброму совету, — что делать! Большая оказалась привязанность к месту... Витя поступил волонтером на Малахов и тоже был ранен; но тот скоро поправился, теперь опять там... Только одна маленькая Оля при родителях.

— Значит, Виктор Зарубин у адмирала Истомина? Вот как! Ну что же, он — молодчина. Был один из лучших у меня юнкеров в роте, — одобрительно улыбнулся Стеценко. — Ничего, что молод, — таким

только и воевать. А Варя — с такими всегда огненными щеками — сестрой милосердия стала, это для меня новость... Тиф она перенесет, я думаю, ничего. Были, правда, случаи в Симферополе, — схоронили там трех или четырех сестер, но те ведь все были уже почтенных для женщины лет.

— Да, да, я тоже уверен, что Варя поправится, — оживился при последних словах Стеценко Дебу. — А то это было бы уже совсем вопиющим абсурдом!

— Э-э, батенька, вопиющих абсурдов кругом нас с вами сколько угодно... Ну, желаю вам здравствовать! Производства все-таки ждите, — представление сделано.

И Стеценко, который был верхом, перегнувшись с седла, протянул Дебу руку прощаясь.

Дебу, конечно, и без Стеценко знал о вопиющих абсурдах кругом. Один из таких, притом достаточно вопиющий, случился совсем недавно.

Рабочая рота, в которой числился Дебу, целый день начиняла бомбы в одной укрытой от выстрелов пещере. Потом, ночью, эти бомбы грузили на подводы и отправляли на бастионы. Это было обычно, но нужно же было, чтобы в одну из этих подвод, едущую в то время по Театральной площади, попал неприятельский снаряд! Ведь снаряд этот мог разорваться где-нибудь дальше, хотя бы в двадцати шагах, и на это никто бы не обратил внимания. Но он искал себе жертв и нашел их. Бомбы, начиненные с таким старанием, чтобы нести назавтра разрушение и смерть в стан противника, взорвались на тяжелой подводе, запряженной четверкой крупных артиллерийских коней, и взрыв этот был ужасен. От коней и от людей, сопровождавших подводу, остались только разметанные далеко повсюду клочья паленого мяса; в больших домах кругом вылетели рамы, мелкие развалились совсем... Артиллеристы же союзников, пославшие этот злой снаряд, могли торжествовать, конечно: они сделали даже больше, чем думали сделать...

А маленькая Оля Зарубина, проснувшись в отцовском домике на Малой Офицерской от страшного грохота и гула, заставившего дрожать даже землю, на коленях молилась перед иконой и требовала

от своей кошки, чтобы молилась и она вместе с нею. Кошка эта была умная и кое-что понимала уже в делах веры. Так, когда Оля спрашивала ее: «Машка, где бог?» — она поднимала зеленые свои глаза к небу и принимала очень набожный вид; а когда Оля кричала ей: «Молись, Машка, молись!» — она упиралась лбом в пол и мяукала жалобно, протяжно, сокрушенно и, пожалуй, даже невыносимо: по крайней мере так казалось Дебу.

## II

Главнокомандующий не мог быть и не был на Селенгинском редуте после отбития атаки французов, но зато посетили отстоявший себя редут великие князя.

В Селенгинском полку выбыло из строя всего только пятнадцать человек, и то ранеными. Волынский одними убитыми потерял шестьдесят семь. Они лежали в ряд ниже редута, и в головах их в землю были воткнуты восковые свечи, горевшие теперь днем маленькими желтенькими робкими огоньками. Убитые французы лежали отдельно.

Перед телами убитых и перед оставшимися в строю, наскоро перевязанными, которых набралось до полутора человека, кто-то должен был благодарить остатки полка за совершенный подвиг, благодарить торжественно, от лица самого императора. Но как раз «лицо»-то это, князь Меншиков, не могло этого сделать. Пришлось старшему из великих князей, Николаю, прокричать:

— От лица государя императора благодарю вас, братцы! — и выслушать многоперекатное «ура», и обещать всем награды, как солдатам, так и офицерам, и «милостиво беседовать» с тяжело ранеными.

Вышло так, что старший из сыновей царя, находящихся в Севастополе, замещал главнокомандующего, выполняя его роль.

Но главнокомандующий, таясь в своей хате по Сухой балке, существовал все-таки, и вечером в тот же радостный день победы по его жестокому приказу затопили три линейных корабля из новых и два фрегата. Это возмутило обоих братьев; это привело их к

самостоятельному решению, поддержанному всею их ставкой, начиная с генерал-адъютанта Философова: Меншиков на посту главнокомандующего более терпим быть не может.

Существует множество способов и приемов любую жесткую истину облечь в более или менее мягкие формы, и дня два после того, как решение было принято великими князьями, они отыскивали эти мягкие формы. Остановились на том, чтобы предложить в деликатнейших выражениях самому князю Меншикову написать Горчакову, что благодаря его болезни Севастополь может очутиться в критическом положении, и не только Севастополь, но и вся Крымская армия, что только его, Горчакова, он считает надежным себе заместителем и просит его немедленно прибыть в Крым и принять главное начальство над армией.

Меншикову оставалось согласиться и благодарить за заботу об его здоровье, хотя он не забыл сказать и о том, что «перемена главнокомандующего без высочайшего на то соизволения совершиться не может».

Это последнее обстоятельство взялся уладить великий князь Николай своим письмом к отцу, а Михаил в то же время написал от себя и брата письмо Горчакову, которое должно было прозвучать, как неотложный приказ.

«Вам уже известно, — писал он, — что здоровье князя Меншикова в последнее время очень расстроилось и теперь дошло до того, что он не в состоянии ни сесть на лошадь, ни двигаться и принужден большую часть дня проводить лежа; к тому же нервы его так ослабели, что ему крайне трудно заниматься делами, какими он обременен. Поэтому, сколько ему ни грустно и ни тяжело оставить в столь важную эпоху Севастополь, князь решился сдать команду Сакену, а сам едет лечиться на первый раз в Симферополь. Завтра уже начинается сдача, а послезавтра он полагает уехать.

Итак, теперь, в самую решительную и критическую минуту, Крымская армия остается без главнокомандующего!.. Столь важные и трудные обстоятельства подали брату и мне мысль предложить князю Меншикову сообщить вам немедленно о положении своем и здешней армии и убедительно просить вас, не сочтете ли вы возможным сейчас

сами прибыть сюда для принятия главного начальства над всеми силами крымскими... Что Севастополь до сих пор держится, мы обязаны вам, ибо вы по всем частям решительно помогли князю Меншикову столь деятельно и неусыпно, что Россия навсегда за это благороднейшее участие ваше останется вам благодарной. Кроме того, вы так внимательно следили с самого начала за ходом здешней кампании, что, найдя здесь образованный штаб и хороших помощников, вам нетрудно будет ознакомиться со всеми обстоятельствами... В нынешнее время все усилия союзников обращены против Крыма и не позже, как в конце марта или начале апреля, они начнут чрезвычайно решительно действовать, и с огромными превосходными силами...

Князь Меншиков вам пишет, кажется, в том же смысле и отправляет флигель-адъютанта графа Левашева к государю; к нему же и брат пишет подробное письмо.

Долг присяги, чувство чести нашего оружия и спасения важного участка нашего государства побудили меня и брата на столь решительное предложение. Мы уверены, что вы, князь, вполне поймете критическое положение Севастополя и здешней армии и для пользы дела сами решитесь прибыть сюда для принятия главного начальства».

Это письмо было послано 16 февраля одновременно с письмом Горчакову же самого Меншикова.

«Великие князья, — писал Меншиков, — узнав, что я вынужден передать командование Сакену и что доктора торопят меня отправиться в Симферополь, чтобы там брать ванны, поручили мне передать вам, любезный князь, что, по их мнению, вы должны приехать в Крым, чтобы принять в свое командование весь полуостров и сделать это немедленно. Сколько им известно, они полагают, что это будет согласно с желанием императора, и просят от себя донести о том его величеству.

Сообщая о вышеизложенном, я только исполняю приказание их высочеств, но со своей стороны должен прибавить от себя, что если вы решитесь на этот шаг, то окажете отечеству услугу, которую, к несчастью, я не в состоянии оказать».

В немногие скупые слова этого письма к другу юности было вложено светлейшим достаточно едкого смысла по его адресу и бессильных выпадов в сторону великих князей, так бесцеремонно сталкивающих его, не спросив даже у самого царя, с поста главнокомандующего, который он думал оставить только временно в руках Сакена.

В самых неопределенных выражениях писал Меншиков и военному министру Долгорукову:

«Их императорские высочества великие князья, видя необходимость мою отлучиться отсюда в Симферополь для пользования от тяжкого недуга, предложили мне выразить князю Горчакову, что ежели он сочтет возможным отлучиться в Крым, то прибытие его сюда было бы весьма полезно. Мысль эту я передал князю Горчакову частно от имени их высочеств».

Он осторожно писал «отлучиться», в то время как был уже совершенно уволен, безвозвратно снят с поста главнокомандующего самим Николаем в последние дни его жизни; в то время, когда рескрипт об этом, подписанный пока еще наследником Александром, был уже отправлен в Севастополь, а Горчаков как единственный кандидат в главнокомандующие Крымской армией был уже назначен им и обязан был не «отлучиться» в Крым, а «прибыть», чтобы взять бразды правления армией до конца, «оказать отечеству услугу», которую Меншиков «оказать был не в состоянии».

### III

Никто не провожал Меншикова, когда он 18 февраля покидал Севастополь в надежде, что покидает его временно, пока излечится от своей болезни и отдохнет от забот и неприятностей, неизбежных, разумеется, при командовании большою армией во время военных действий. Из адъютантов при нем было только двое — Стеценко и Панаев.

Любя во всем точность и снабженный бесчисленным множеством необходимых в дороге вещей, которые были размещены в сорока карманах нескольких напяленных на него одежд, Меншиков, усевшись в бричку, посмотрел на часы. Часов у него было двое, но они были врезаны в одну серебряную коробочку. Конечно, они показывали одно

и то же время. Меншиков присмотрелся к ним, прищурясь, и сказал Панаеву:

— Выезжаем в тридцать три минуты первого.

Это была очень странная случайность, что «лицо» императора Николая покинуло навсегда Севастополь как раз в ту минуту, — принимая во внимание долготу Петербурга и Севастополя, — когда душа Николая покинула его брренное тело.

Несколько раз оглядывался Меншиков на Севастополь, пока было его видно. Но вот начала приближаться Бельбекская долина, потянуло холодным ветром с гор, и светлейший съехался в бричке и бормотал:

— Вот какой ветер, поди же ты! Хорошо, что надел я под низ заячью шубку, а то этот ветер меня бы донял!..

Доехав до Бахчисарая, он остановился в нем на отдых и ночевал в домишке отставного унтер-офицера, грека. Стеценко, к удивлению своему, заметил, что на другой день светлейший неузнаваемо сделался бодрым. Даже и стянутое обычно лицо его как-то раздалось вдруг, побелело, помолодело.

— А не съездить ли нам отсюда в Чуфут-Кале? — сказал он вдруг тоном заправского туриста. — Я вообще хотел бы осмотреть окрестности Бахчисарая: они привлекательны своею древностью.

Заложили лошадей, — все было готово для поездки в Чуфут-Кале, как вдруг явился из Севастополя генерал Семякин.

— О, опять этот глухарь! — скривил лицо в длинную севастопольскую гримасу Меншиков, чуть только заметил его издали.

Семякину же как начальнику штаба Крымской армии нужно было от него многое, он ездил в командировку и не виделся со своим начальником последние дни; сдача дел Сакену состоялась без него, и у него, естественно, было множество нерешенных вопросов.

Чуфут-Кале пришлось отложить ради Семякина, с которым Меншиков и проговорил, точнее прокричал, весь день. Они расстались поздно вечером, а утром на другой день Меншиков заторопился ехать в Симферополь, точно опасался, что может сюда прискакать кто-нибудь еще и растревожить его окончательно возвратом к только что брошенным делам.

Но в Симферополе Меншикова ожидало нечто гораздо худшее, чем

надоевшие севастопольские дела. Прибыл курьер из Петербурга, посланный вызвать великих князей ввиду тяжелой болезни их отца. Это было до такой степени неожиданно для всех, что Остен-Сакен не сразу решился даже передать тревожного известия великим князьям: им сказали, что тяжело больна императрица, и они понеслись в Петербург. Через Симферополь проехали они, постаравшись не видаться с Меншиковым, который впал в большое уныние, с часу на час ожидая новых, еще худших вестей из Петербурга. Однако вести эти пришли из Севастополя, от Остен-Сакена. Барон сообщал то, что было ему передано союзниками, через парламентаря, — о смерти Николая. В тот же день подоспел и рескрипт за подписью Александра, которым Меншиков увольнялся с своего поста.

Этих двух ударов сразу светлейший не вынес: он слег; его била лихорадка. С Крымом было уж для него все кончено, получить какую-либо высокую должность из рук нового царя он не надеялся, для него оставалось в будущем только деревенское одиночество, скука, тишина и... бесславие. Блестящий послужной список его был испорчен Севастополем непоправимо.

Однако на рескрипт, подписанный наследником, необходимо было ответить на имя наследника же, тем более что известий из Петербурга о смерти Николая еще не приходило. И Меншиков ответил.

Это был ответ старого царедворца-дипломата, оскорбленного теми, кому он служил, настолько, что уж не в силах промолчать об этом, но старавшегося высказать это так, чтобы было как можно более похоже на благодарность и преданность до конца дней.

Полученный им рескрипт был писан Александром от имени больного отца. В нем довольно резко упомянуто было и о неудачном евпаторийском деле, и о собственноручном уничтожении флота, и в самых категорических выражениях давались указания, как надобно поступать в дальнейшем при обороне Севастополя.

Но все это служило как бы вступлением к сути рескрипта, выраженной в таких словах:

«Засим государь поручает мне обратиться к вам, как к своему старому, усердному и верному сотруднику, и откровенно сказать вам, любезный князь, что, отдавая всегда полную справедливость вашему рвению,

государь, с прискорбием известившись о вашем болезненном теперешнем состоянии и желая доставить вам средства поправить и укрепить расстроенное службой ваше здоровье, высочайше увольняет вас от командования Крымской армией и вверяет ее начальству генерал-адъютанта князя Горчакова...»

Требовалось несколько позолотить горькую пилюлю, и рескрипт кончался так:

«Засим государь поручает мне, любезный князь, искренне обнять своего старого друга Меншикова и от души благодарить за его всегда усердную службу и за попечение о братьях моих».

Свой ответ Меншиков начал с того, что командование армией он сдал еще до получения рескрипта, который застал его в Симферополе, давая этим понять, что сам горячо желал только одного — быть уволенным. К этому он тут же

добавил:

«Не сумею выразить вашему высочеству, сколь глубоко чувствую и высоко ценю я то лестное внимание, которое оказано мне при этом».

Обещал дальше передать Горчакову при свидании с ним все, что знает, но замечал тут же не без большой доли ядовитости:

«При всеподданнейшем донесении вашему высочеству об этом да будет мне дозволено обратить внимание ваше на — осмелюсь так выразиться — существенную необходимость дать преемнику моему разрешение двигать войска по своему ближайшему местному усмотрению в то время, когда придется ему маневрировать из одного края полуострова в другой и обращать головные войска наступательных колонн, те войска, которые будут ближе под рукой для стратегического направления их от турок к сардинцам, либо к французам, или англичанам и обратно, смотря куда и как понадобится».

В таком передвижении могут быть войска 6-го корпуса и 8-я дивизия. Уполномочие своевременно и по своему усмотрению распоряжаться сею последнею необходимо дать моему преемнику потому, что их императорские высочества государи великие князья между переданными мне высочайшими указаниями изволили, также именем государя, объявить запрещение сближать к себе 8-ю дивизию.

Разрешено мне было только одну бригаду передвинуть в случае крайней необходимости, и то не далее как до высоты Симферополя».

Так в ответе наследнику, хотя тот был в конце февраля уже императором, Меншиков, пусть и осторожными намеками, но все-таки пытался свалить на самого царя Николая ответственность перед историей за свои неудачи в Крыму, который представлялся ему в будущем ареной маневренной войны с интервентами.

Он не говорил при этом, что он думает об участии Севастополя, но надеялся, что Александр умеет читать между строками и поймет из его письма, что на сохранение Севастополя нет надежды.

#### IV

— Ну, кажется, я теперь сделал уже все, что от меня требовалось, — обратился Меншиков к своим адъютантам за завтраком после того, как это письмо было отправлено. — Теперь мне остается только повидаться с князем Горчаковым, а это лучше всего сделать в дороге, может быть в Перекопе, например, но только не здесь... Здесь очень беспокойно. Отсюда я думаю уехать сегодня же.

— Ваша светлость, простите, но, мне кажется, еще одно не сделано вами... Впрочем, может, и сделано, но только я об этом не знал, — сказал Стеценко, слегка улыбаясь, но серьезным тоном.

— А именно, что еще? Что ты предполагаешь? — вскинул на него усталые глаза Меншиков.

— Мне кажется, — впрочем, может быть я ошибаюсь, тогда прошу меня извинить, — кажется, вы не простились с флотом и армией.

— Ты прав, — это надобно сделать теперь же, пока я еще главнокомандующий, — отозвался на это Меншиков. — После свидания с Горчаковым будет уже поздно, пожалуй... Да, тогда будет поздно, а теперь пока рано еще. Вот какое междупредметное положение!

Он попытался усмехнуться, но вместо усмешки вышла затяжная гримаса, справившись с которой, он добавил:

— Из Перекопа можно будет послать обращение к войскам. А теперь вопрос, сколько лошадей нужно будет заложить в мою бричку, чтобы добраться до Перекопа? Я слышал, что очень трудная туда дорога.

Заложили шесть лошадей в бричку, четыре — в тарантас, в котором ехал камердинер Меншикова с багажом. Несколько верховых казаков собственного конвоя светлейшего сопровождало экипажи. И снова началась дорога.

Когда выезжали из Симферополя, Меншиков просил своих адъютантов позорче глядеть по сторонам, чтобы не пропустить встречного курьера из Петербурга, так как и в день выезда — 26 февраля — все-таки не было известно и таврическому губернатору Адлербергу, действительно ли умер царь.

И курьер этот был встречен, но далеко от Симферополя, на одной из почтовых станций: это был князь Паскевич, сын фельдмаршала, генерал-адъютант. Он ехал в Севастополь приводить войска к присяге новому императору.

Он вез и депеши на имя Меншикова и еще два рескрипта от Александра II. В первом было сказано между прочим:

«Уволивая вас, для поправления расстроенного на службе вашего здоровья, от всех занимаемых вами должностей, вы остаетесь моим генерал-адъютантом, и я рад буду видеть вас при мне. Если же вы предпочтете остаться в Севастополе, то я вам в этом не препятствую».

От этой фразы у Меншикова сразу потемнело в глазах, не потому, конечно, что она была безграмотно составлена. Дело было в том, что светлейший, хотя и был назначен сначала командующим, потом главнокомандующим, не был в то же время смещен с занимаемых им раньше должностей — финляндского генерал-губернатора и начальника главного морского штаба, кроме того, что был членом Государственного совета. Первый из полученных через Паскевича рескриптов оставлял его совсем не у дел. Второй, данный на следующий день, был несколько милостивее: право заседать в Государственном совете у него не отнималось.

— Ну вот, конечно, — сказал, простившись с Паскевичем, Меншиков своим адъютантам. — Я теперь только член Государственного совета и ничего больше... Я уже не имею больше права на адъютантов. Теперь мне остается только пристроить вас, потому что остальные, кажется, уже пристроились раньше. Подумайте, — и если я что-нибудь еще могу для вас сделать, я сделаю.

Когда Стеценко в ответ на это высказал свое желание идти на бастионы, Меншиков был искренне изумлен такой несообразностью.

— Что ты, помилуй! Я дам тебе самую лестную рекомендацию, и ты перейдешь адъютантом к князю Горчакову! А на бастионах — какое же там движение по службе?.. Кроме того, разумеется, что ведь и небезопасно... Нет, ты подумай над этим хорошенько, а скажешь мне об этом потом, когда доедем до Николаева.

Панаев с первых же слов заявил, что очень хотел бы остаться при светлейшем, хотя бы и не в качестве его адъютанта. Такая привязанность к нему, казавшаяся совершенно бескорыстной, заметно тронула старика, но не Стеценко: он твердо решил вернуться к строевой службе.

До Николаева же было еще далеко; не близко оказалось и до Перекопа: считалось между Симферополем и Перекопом не меньше двухсот верст. Дорога была убийственная, и именно только теперь, когда пришлось ехать по ней самому Меншикову, он оценил ее по достоинству.

В сущности не было никакой дороги — была разлегшаяся по степи топь, по которой колесили подводы обозов во всех направлениях, ища более твердого грунта, но делая это совершенно напрасно: грунт был везде одинаковый — лошади по колено, заднему колесу по ступицу. Когда он был жиже, по нем тащились, как по болоту, с огромным трудом, правда, но кое-как тащились. Теперь же после нескольких сухих дней грязь стала гуще и невылазней. Она точно издевалась над всеми усилиями коней и людей. Жирно и звучно чавкая, она засасывала, заглатывала и подводы и ноги. И если шестерик, а за ним четверка экипажей Меншикова едва тащились шагом, то встречные обозы стояли. В них из подвод выпрягали лошадей и уводили к ближайшим станциям, бросая грузы, которые назначались все для нужд армии в Севастополе.

Светлейший в первые часы этой дороги любопытствовал, что за грузы были брошены беспризорно посреди невылазной степи, и качал сокрушенно головою, что все это до зарезу нужное русской армии, что этого ждут не дождутся, а оно брошено, засосанное пятой стихией — четвертым союзником турок, и нет таких сил в русской природе,

которые пришли бы на помощь злосчастливым севастопольцам.

К вечеру все совершенно выбились из сил: и лошади, и кучера, и казаки конвоя, и адъютанты, и камердинер Разуваев, и больше всех, конечно, сам Меншиков.

Остановились на станции Айбары и здесь заночевали. Однако самая трудная часть пути была еще впереди и именно под Перекопом, который стал казаться зачарованным по своей недоступности.

Тут от близости Сиваша почва пошла глинисто-солонцеватая, и до того была густа грязь, что колеса экипажей облеплялись ею сплошь и совершенно теряли способность вертеться. Казаки пытались счищать с колес эту грязь своими кинжалами, но не видно было ни конца топи, ни конца бесполезной трате сил. Лошади стали, понунив головы; пар от них шел, как от котлов на ротной кухне. Их оставалось только выпрячь, как это сделали кругом подводчики, потому что кругом торчали, оглоблями кверху, брошенные воза.

— Хорошо, выпрячь, — и что же делать дальше? — спрашивал Меншиков опытных людей, дававших такой совет.

— А дальше — верховые, может, доберутся до Перекопа, — отвечали ему, — там в соляном ведомстве, а то даже и на станции, есть быки... Так вот, если пар по десять быков пригонят да запрягут в бричку и в тарантас, те авось как-нибудь вытянут.

Пришлось отправить казаков за быками. С ними поехал верхом и Стеценко. Меншиков остался в бричке, так как вылезать из нее, чтобы немедленно полуутонуть в грязи, ему, пока еще главнокомандующему Крымской армией, не хотелось.

Был день. Шли часы. Исполосованная повсюду колесами и уставленная засосанными возами, как ярмарочная площадь, лежала кругом унылая степь. Меншикову оставалось только думать — о настоящем, о будущем, о прошлом...

В одном из рескриптов, им полученных, говорилось о его сыне Владимире: «Известясь о болезненном состоянии сына вашего вследствие сильной контузии, его величество разрешает ему воротиться сюда и вместе с тем назначает его генерал-адъютантом».

Но еще до получения рескрипта он сам отправил сына в Петербург под предлогом донесения об устройстве Селенгинского редута на склоне

Сапун-горы, но больше потому, что тот, естественно, льнул к ставке великих князей, как будто и не желая совсем замечать, что в этой ставке все настроены против его отца. Контузия, полученная им на Инкермане, была из самых легких и послужила просто предлогом, чтобы его выслать из Севастополя. Гораздо тяжелее была «контузия», приобретенная им в детстве и юности.

Один из образованнейших людей своего времени, Меншиков совершенно не занимался воспитанием сына, и он до такой степени безграмотно писал по-русски, что заставлял краснеть отца, и до такой степени не выносил около себя никаких книг, что светлейший боялся завещать ему свою громадную и очень ценную библиотеку, в которой им самим была внимательнейшим образом, со многими отметками на полях, прочитана каждая книга.

А между тем Владимир Меншиков был его сын. Как же это случилось, что у него оказался именно такой сын?.. Когда-то, очень давно, когда он сам был еще молод, отец его написал ему, блестящему преображенцу, что нашел для него невесту, и предлагал ему приехать посмотреть ее. Он не поехал, но написал

отцу: «Мне нечего смотреть; я женился бы и на козе, если у нее золотые рога и она может родить Меншикова».

Козою с золотыми рогами и оказалась его невеста, графиня Протасова, обладательница семи тысяч душ крестьян и целых залежей бриллиантов. Это была безобразнейшая женщина, толстая, краснолицая, глупая, полуграмотная, знакомая только со святцами и житиями святых. Она таскалась по монастырям, беседовала только с богомолками и монахами, окружила себя юродивыми и странниками.

И все-таки он, усвоивший всю философию восемнадцатого века, женился на ней. Что могло быть общего между ними? Ничего, конечно. Он был красавец самых утонченных манер; она же, появляясь вместе с ним на великосветских балах, была предметом самых откровенных насмешек. Она пыталась наряжаться как можно богаче, но от этого делалась еще смешнее. Кивая на нее, острил он, ее муж: «Не правда ли, я похож на пилигрима в Мекку со своим верблюдом?» Однажды он посоветовал ей явиться на костюмированный бал Орлеанской девой. Она даже и не подумала заподозрить издевательства в этом совете.

Костюм Жанны д'Арк был заказан, и она блеснула им на балу, вызвав такую бурю хохота, что вынуждена была уехать.

В то же время она бешено ревновала его к светским дамам, а чтобы расположить его к себе, прибегала к помощи ворожей и засовывала тайком в карманы его парадного мундира наговоренные корешки, которые высыпались в самых неподходящих для этого местах, когда он доставал платок.

Меншикова она родила ему, — это и был Владимир, нынешний генерал-адъютант; кроме того, родилась у нее от него дочь, бывшая теперь замужем за Владковским; но он отходил от жены все дальше и дальше и сначала поселился в особом доме, сообщавшемся, однако, с домом жены коридором, потом приказал заложить кирпичом и этот коридор, чтобы даже случайно как-нибудь не встретиться со своей женой.

С тех пор они больше и не видались. Он делал большую карьеру при дворе, — ездил в одной коляске с царем; она же снова начала ездить по монастырям и принимать у себя странников и юродивых. Заниматься воспитанием детей ему было некогда, да этим и вообще не занимались вельможи того времени, предоставив скучные заботы эти нанятым гувернерам и гувернанткам из иностранцев. Таким гувернером у сына был m-r Voison.

Когда сыну исполнилось шестнадцать лет и надо уж было отдавать его в Пажеский корпус, отец вздумал проэкзаменовать его сам и испугался его невежества. Он не только не знал, кто был Юлий Цезарь и какой главный город Швеции, — он не знал и сложения, не умел написать правильно под диктовку почти ни одного русского слова, а при чтении русской книги так спотыкался на каждом шагу и немилосердно перевирал слова, что пришлось прекратить эту пытку, вырвав у него из рук книгу... Зато у него была коллекция кнутов и уздечек и даже любовница на содержании.

За большие деньги нашли ему учителя из преподавателей Пажеского корпуса, кое-как он был принят в пажи. Но через год ему, по безграмотности, предложили все-таки уйти из корпуса. Удалось устроить его в артиллерию, а оттуда перевести в лейб-гусары... Так и остался он круглым невеждой, повышаясь в чинах только благодаря

заслугам и положению отца.

Однако не лучше вышла и дочь. Она засыпала его ругательными письмами с требованиями денег, денег и денег. Эти письма, писанные по-французски, представляли собою верх безграмотности, по-русски же она совсем не писала. За долги ее чуть что не сажали несколько раз в тюрьму, и ему, во избежание скандала, приходилось платить за нее огромные суммы. Он называл ее своей Лукрецией Борджиа{71}.

Теперь, в старости и в немилости у судьбы, Меншиков видел, что у него нет и семьи, что он одинок и что это возмездие за легкомыслие молодости. Сын его, всегда стоявший перед ним воплощенным укором, вдобавок был и бездетен, и внука Меншикова у него уже не могло быть: род его угасал на его глазах...

Именно тут, в перекопских топях, представилось ему непростительной оплошностью, что он не удосужился до сих пор разыскать место в Березове, где был похоронен начальник рода Меншиковых, Александр Данилович{72}, сподвижник Петра. О его прабабке, жене Александра Даниловича, Дарье Михайловне, сохранилось предание, что она тяжело заболела на пути в ссылку, ослепла от слез и, наконец, умерла в селе Верхний Услон, на пути в Сибирь. Там же и выкопал для нее могилу собственноручно Александр Данилович, сам сколотил гроб, сам отчитал по ней псалтырь, сам опустил гроб в могилу и засыпал мерзлой землей, а на могиле положил камень с надписью, тоже выбитой им самим.

Настоятельно необходимым показалось Меншикову именно теперь поставить на могилах прабабки и прадеда внушительного вида часовни.

Засосанная грязью бричка стояла так до вечера, когда показалось, наконец, целое стадо быков оттуда, со стороны Перекопа. Больше часу прошло, пока их впрягли в бричку — пять пар. Сгустились сумерки. Флегматичные животные еле переступали с ноги на ногу, тем более что с трудом могли и вытаскивать ноги. Но бричка все-таки двигалась куда-то в темь под крики погонщиков-украинцев.

Можно было думать, что к утру, а если не к утру, то к полудню следующего дня зачарованный Перекоп станет явью. Меншиков закрыл глаза и, усталый, крепко заснул.

V

В Перекопе, остановившись у соляного пристава, Меншиков отдыхал пять дней, думая здесь же дожидаться и Горчакова и передать ему свой пост. На досуге он написал и ответное письмо новому царю на полученные через Паскевича два его рескрипта и последний «Приказ главнокомандующего сухопутными и морскими силами в Крыму».

Приказ этот кончался так:

«Товарищи!..

Тяжкими недугами разлученный с вами, мне остается только искренне поблагодарить всех и каждого из моих морских и сухопутных войск сотрудников, от генерала до рядового, за неоднократное доставленное счастье передавать им царское «спасибо», и, покидая, по необходимости, ряды доблестного воинства, я утешаюсь убеждением, что, удостоенное прежде, оно не перестанет и впредь заслуживать монаршее одобрение, радуя нашего царя успехами защиты православного дела.

Товарищи! Прощайте! Господь да помогает вам».

В этом последнем его приказе было кое-что общее с последним приказом Сент-Арно, даже и кроме французского построения некоторых фраз. И тот и другой главнокомандующие оставляли свою армию по причине «тяжких недугов». Третий из главнокомандующих, начавших войну в Крыму, Раглан, ждал своей очереди.

Но хотя Меншиков и послал этот приказ в Севастополь, он не сдал еще должности, поэтому должен был поневоле принимать начальников проходивших через Перекоп воинских частей и давать им указания и наставления. Это ему надоело, наконец, и он решил поехать навстречу Горчакову, рассчитав, что встреча с ним, едущим из Кишинева, может произойти в Херсоне, губернском городе Новороссийского края, где будут полные удобства передать ему все, что представится необходимым.

От Перекопа до Херсона считалось по почтовому тракту девяносто верст, но дорога здесь была несравненно лучше, чем в Крыму, и лошади гораздо менее изнуренные. Меняли их на каждой станции, бежали они бойко, и, выехав из Перекопа рано утром, Меншиков в два

часа дня был уже в городе Алешках на Днепре. Через Днепр, который был здесь очень широк и вполне свободен ото льда, был виден Херсон.

Расчеты светлейшего оказались правильны: Горчаков был уже в Херсоне, и Стеценко был послан к нему с письмом, чтобы он подождал друга своей юности, готовящегося переезжать Днепр. Однако Стеценко очень быстро вернулся в сопровождении одного из адъютантов Горчакова: новый главнокомандующий просил друга юности не спешить в Херсон, так как он сам спешит к нему в Алешки. Меншиков несколько удивился такой ретивости, но остался ждать его в Алешках, городишке маленьком и грязном, расположенном на луговом берегу, в то время как Херсон — на нагорном.

Бесконечные рыжие камыши — плавни — покрывали Днепр со стороны Алешек, и нужно было выбрать на берегу особо высокое место, чтобы рассмотреть лодку, в которой переправлялся Горчаков, окруженный своим штабом. Лодка приближалась медленно, наконец пристала к берегу, и новый главнокомандующий, едва выбрался из нее, так и бросился с юношеской резвостью в объятия старого.

Можно было бы ожидать, что друг юности упрекнет Меншикова за то, что тот, так несвоевременно заболев, обрушил на его узкие плечи совершенно непосильную тяжесть, под которой придется согнуться в дугу, если не сломиться в первое же время. Но ни малейшего намека на укоризну не только в словах, даже и во взглядах не проскользнуло у Горчакова: он был как бы с головы до ног, — кстати сказать не менее длинных, чем у светлейшего, — упоен восторгом, что едет спасать Севастополь, Крым, всю Россию. Тут же он представил Меншикову своего начальника штаба генерал-адъютанта Коцебу, начальника артиллерии генерала Сержпутовского и других. Свита его была многочисленна и вся полна неистраченной, накопившейся за долгое кишиневское безделье энергией. Такая, скрытая пока, но готовая вот-вот неудержимо вспыхнуть энергия бывает у застоявшихся на обильном корме в конюшнях коней, и не только Меншикову, даже и Стеценко странно было, хотя и издали, наблюдать ее после тяжких и грустных севастопольских впечатлений. Все так и рвались в бой, как и сам Горчаков, ничего не видевший по близорукости дальше, чем в

десяти шагах, и ничего не слышавший из того, что говорилось в пяти метрах. Стеценко вспомнил, где и когда он видел толпу таких же блестящих военных, то и дело сыпавших шутками и заливавшихся самым непринужденным смехом: это было в ставке Меншикова перед боем на Алме.

В скромном по внешнему виду доме, занятом Меншиковым на берегу Днепра, и произошла смена главнокомандующего Крымской армией, — сдача дел старым, прием их новым, но очень изумил светлейшего при этом друг его юности. Он если и приседал иногда на минуту, слушая монотонную и тихую, но богатую содержанием речь Меншикова, то только затем, чтобы тут же вскочить и начать, поблескивая очками, метаться по комнате, жуя в то же время пряники, поставленные для него предусмотрительно в трех местах: на столе, на этажерке и на подоконнике.

Казалось Меншикову, что это были самые обыкновенные пряники на меду, которых трудно съесть много. Но Горчаков уничтожал их один за другим в количестве баснословном. Жевал он быстро, как жуют козы, но Меншиков сомневался, слышит ли он его, мечась на длинных ногах по комнате, стуча каблуками и звякая шпорами. Он знал, что глухие слушают больше открытым ртом, чем ушами, однако рот Горчакова был очень плотно забит пряниками.

Между тем все, что он мог передать новому главнокомандующему о деле обороны Севастополя и Крыма, представлялось ему теперь, на большом расстоянии, очень отчетливо и было важно. Расположение войск русских и войск союзников, снабжение Крымской армии боевыми припасами, продовольствием, палатками, полушубками, которые начали поступать в Севастополь большими партиями только в феврале, на исходе зимы, врачами и принадлежностями госпиталей, медикаментами и подводами для перевозки раненых и больных в тыл — обо всем этом без напряжения голоса, но обстоятельно говорил Меншиков и видел, что это как будто совсем не занимает Горчакова, не нужно ему.

Светлейший заговорил о новом этапе оборонительных действий — системе контрапрошей, из которых редут Селенгинского полка был не только сооружен на виду у противника, но и защищен блестяще

волынцами в ночь с 11 на 12 февраля.

Горчаков уселся против него и, казалось, стал слушать внимательней, однако не переставая жевать пряники быстро-быстро, как козы. Голова у него была вытянутая, но узкая, а лицо еще более плоское, чем у его брата, командира 6-го корпуса.

Меншиков, расхвалив генерала Хрущева и полковника Сабашинского, перешел к устройству другого редута — Волынского, законченного вчерне как раз в день его отъезда из Севастополя, но вот Горчаков снова вскочил и застучал каблуками, зазвякал шпорами, мечась по комнате.

Это озадачило Меншикова. Он умолк. Он смотрел на друга юности с недоумением, стараясь определить, в порядке ли то, что находится в его длинном и узком черепе.

— Ах, боже мой, Александр Сергеевич! — заметив его испытующий взгляд, вскричал Горчаков фальцетом. — Все это прекрасно, что вы мне говорите, и за всем этим я следил из Кишинева неослабно, да, неослабно!.. Но у меня там, на свободе, выработался свой план ведения войны, чудесный план, поверьте, мой друг! Простой и чудесный!.. И вот он в чем заключается, чтобы не тратить лишних слов на его изложение...

Тут Горчаков вытащил из бокового кармана мундира бумагу, сложенную в восемь долей и, действительно оказавшуюся планом, точнее даже картой Севастополя и его ближайших окрестностей. На этой карте черными треугольниками, расположенными в шахматном порядке, испещрены были все склоны Инкерманских высот.

— Что это такое? — в недоумении спросил Меншиков.

— Это? Редуты, которые будут построены, чтобы изгнать неприятеля, — очень весело ответил Горчаков, поднимаясь на носки, склонив голову и поднося ко рту новый пряник.

— Редуты?.. Какая же их тут стая!.. И в каком они завидно безупречном строю!.. Но должен я сказать вам следующее, Михаил Дмитриевич. Во-первых, они у вас тут приходится на таких местах, где их совершенно невозможно построить...

— Ничего, русские саперы построят, — махнул рукою Горчаков.

— Думаю, что и у меня тоже были русские саперы, — живо возразил Меншиков, — однако не везде им удавалось строить редуты... Затем я очень плохо представляю, сколько именно пехотных полков думаете вы бросить на защиту такой массы редутов и где вы возьмете эти полки...

— О-о, разумеется, все это у меня рассчитано, будьте покойны! — весело сказал Горчаков и, перевернувшись волчком на одном левом каблуке, отошел к этажерке за пряником.

— Боюсь, как бы вы не заболели, Михаил Дмитриевич, — кивая на пряники, не удержался, чтобы не заметить, Меншиков и добавил тут же: — Затем я еще хотел сказать, что даже если все эти редуты будут при вас воздвигнуты и защищены даже, — на что должно уйти несколько месяцев, — то все-таки наступательного значения они ведь иметь не могут, а только оборонительное. Что же касается решительного удара, то его можно нанести там, где это не удалось сделать мне двадцать четвертого октября, именно со стороны Инкерманского моста, — вот здесь!

И Меншиков приставил указательный палец к той точке карты, на которой был показан Инкерманский мост, но Горчаков не посмотрел даже ни на него, ни на его палец, потому что в это время вошел его камердинер и внес еще две тарелки пряников.

— Нет, положительно вы решили заболеть, Михаил Дмитриевич, — и вы заболаете, уверяю вас, вы заболаете! — раздосадованный поднялся с места Меншиков и вышел из комнаты.

Они разъехались в тот же день, эти друзья юности, — один, направляясь в Николаев, на покой, другой в Севастополь, на ратные подвиги. И хотя после сдачи своего поста Меншиков не мог удержаться от того, чтобы не отпустить несколько остроумцев по адресу Горчакова, все-таки Стеценко, к удивлению своему, увидел в нем разительную перемену. Он как будто воочию скинул со своих сутулых и тощих плеч страшную тяжесть и теперь на глазах в два-три часа помолодел, выпрямился, стал похож на студента, сдавшего все экзамены.

Переехав на лодке через Днепр в Херсон, он сказал Панаеву и Стеценко:

— Как это ни странно, но не приходилось мне почему-то бывать в Херсоне. Давайте-ка пошляемся по улицам, посмотрим, что это за город такой.

И пошел бодро, забыв о своих болезнях.

Вспомнив, что у него на исходе сургуч, зашел он в лавочку канцелярских принадлежностей и обратил внимание на обыкновенную жестяную песочницу, широкую, приземистую, окрашенную в голубой цвет.

— Прекрасная вещь, — залюбовался ею Меншиков. — И песку поместится много и зря его не просыпешь. Сколько таких имеется у вас, любезный? — обратился он к лавочнику.

— Шесть штук, ваше-с... — запнулся лавочник.

— Очень хорошо, шесть штук! Вот я и возьму у вас все шесть штук... новеньких, голубеньких, в дополнение к такой старой песочнице, как я!

И, говоря это, Меншиков улыбался весело и смотрел молодцевато на своих адъютантов, топорща плечи, украшенные генерал-адъютантскими погонями.

Стеценко проводил его до Николаева, то есть проехал еще шестьдесят верст по почтовому тракту, и там с ним простился, взяв, правда, данную им письменную рекомендацию, адресованную Горчакову, но решив никогда не пускать ее в действие; при этом он обещал все-таки довести до сведения нового главнокомандующего, что наступательную операцию можно вести только со стороны Инкерманского моста.

Когда он добрался до Севастополя, его на другой же день зачислили на первую дистанцию оборонительной линии на должность траншей-майора.

1938 г.